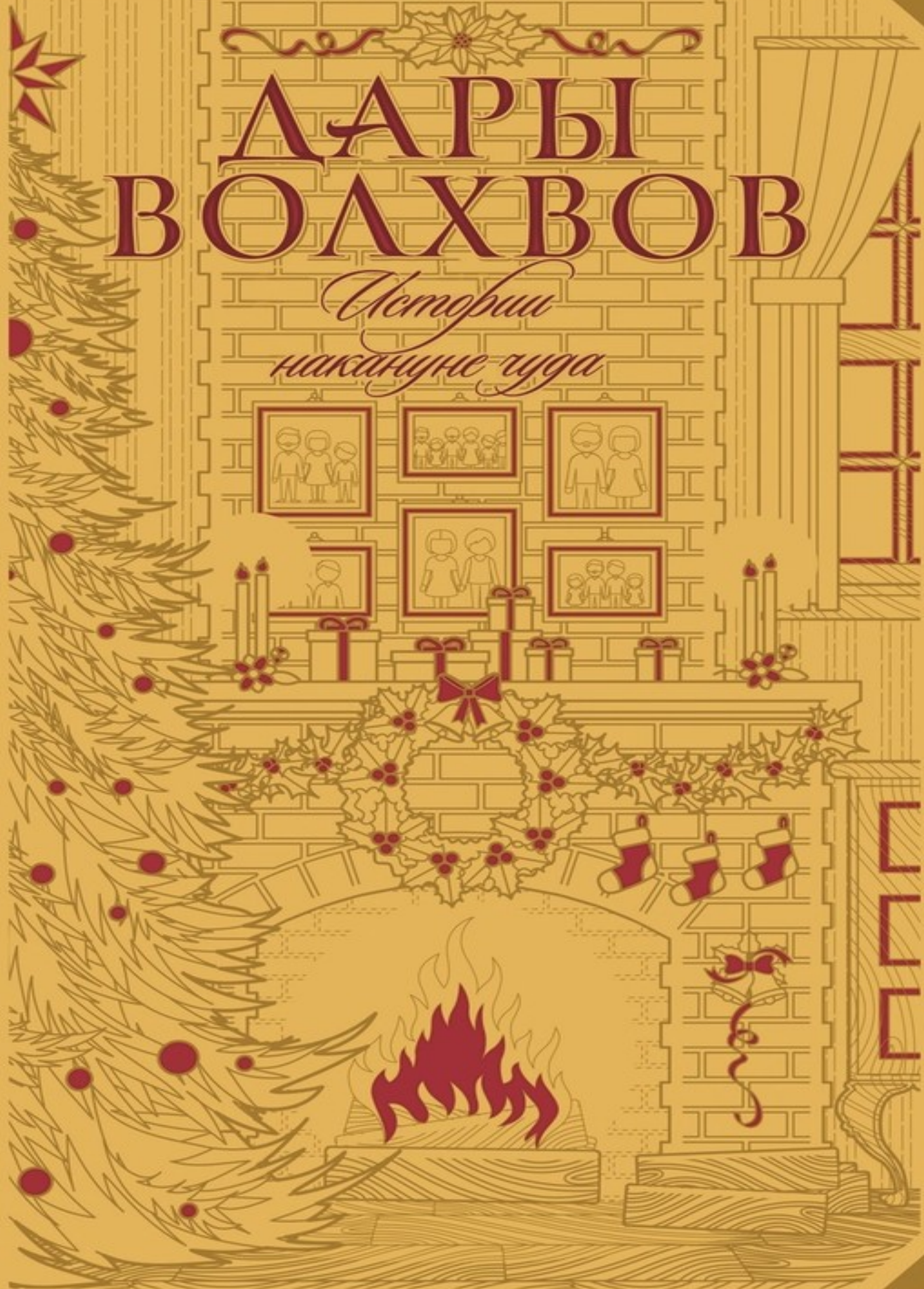


ДАРЫ ВОЛХВОВ

*История
накануне чуда*



Annotation

В этой книге собраны самые трогательные произведения всемирно известных авторов, посвященные волшебному времени зимних праздников. В них двое влюбленных из маленькой восьмидолларовой квартирki в большом американском городе одарят друг друга величайшими сокровищами, а глупого черта в ночь перед Рождеством кто-то дернет украсть Месяц прямо над хатой кузнеца из Диканьки... Где Снежная Королева опять увезет в своей упряжке мальчика с сердцем-льдинкой, а заколдованный принц проскачет по елочной гирлянде напрямиком во дворец Мышиного короля... Где восковый ангелочек растает до утра, оставив место чуду только в снах, а настоящее чудо совершит безымянный доктор...

- [Чарльз Диккенс и др](#)
 -
 - [Чарльз Диккенс](#)
 - [Скряга Скрудж](#)
 - [Первая строфа](#)
 - [Вторая строфа](#)
 - [Третья строфа](#)
 - [Второй](#)
 - [Четвертая строфа](#)
 - [Пятая строфа](#)
 - [О. Генри](#)
 - [Дары волхвов](#)
 - [Эрнст Теодор Амадей Гофман](#)
 - [Щелкунчик и мышиный король](#)
 - [Сочельник](#)
 - [Подарки](#)
 - [Любимец](#)
 - [Чудеса](#)
 - [Сражение](#)
 - [Болезнь](#)
 - [Сказка о крепком орехе](#)

- [Продолжение сказки о крепком орехе](#)
- [Конец сказки о крепком орехе](#)
- [Дядя и племянник](#)
- [Победа](#)
- [Кукольное царство](#)
- [Столица](#)
- [Заключение](#)
- [Томас Майн Рид](#)
 - [Рождество в охотничьем домике](#)
- [Ги де Мопассан](#)
 - [Рождественское чудо](#)
- [Николай Гоголь](#)
 - [Ночь перед Рождеством](#)
- [Леонид Андреев](#)
 - [Ангелочек](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
- [Антон Чехов](#)
 - [Святой ночью](#)
 - [Архиерей](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [Письмо](#)
 - [Шампанское](#)
- [Николай Лесков](#)
 - [Фигура](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)

- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Жемчужное ожерелье](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
- [Неразменный рубль](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
- [Александр Куприн](#)
 - [Чудесный доктор](#)
 - [Тапер](#)
 - [Начальница тяги](#)
 - [Святая ложь](#)
 - [Жизнь](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [Елка в капельке](#)
- [Михаил Салтыков-Щедрин](#)
 - [Христова ночь](#)
- [Александр Бестужев-Марлинский](#)
 - [Страшное гаданье](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
-

Чарльз Диккенс и др Дары волхвов. Истории накануне чуда (сборник)

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2016

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2016

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2016

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Чарльз Диккенс

Скряга Скрудж

Святочная песня в прозе

Первая строфа

Призрак Мэрли

Начнем сначала: Мэрли умер. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическую книгу подписали приходской священник, причетник и гробовщик. Расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было известно на бирже, где бы и под чем бы ему ни благоугодно было подписаться.

Дело в том, что старик Мэрли был вбит в могилу, как осиновый кол.

Позвольте! Не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола: я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба...

Но... разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, и не моей нечестивой руке касаться священного кивота веков – иначе погибнет моя отчизна...

Итак, вы позволите мне повторить с достаточной выразительностью, что Мэрли был вбит в могилу, как осиновый кол...

Спрашивается: знал ли Скрудж, что Мэрли умер? Конечно, знал, да и как же он не знал бы? Он и Мэрли олицетворяли собой торговую фирму.

Бог знает, сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственным другом и единственным провожатым мэрлевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он в день похорон не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии.

Вот это-то слово и наводит меня на первую мысль: Мэрли, без сомнения, умер, и, следовательно, если бы он не умер, в моем рассказе не было бы ничего удивительного.

Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас даже внимания не обратил бы на то, что господин почтенных лет прогуливается некстати, в потемках и на свежем

ветерке, по городскому валу, между могил, с единственной целью – окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына.

Что касается собственно Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле: много лет после смерти Мэрли над входом в их общий магазин красовалась вывеска с надписью: «Скрудж и Мэрли». Фирма торгового дома была все та же: «Скрудж и Мэрли». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговыми оборотами, называли этот дом: «Скрудж и Скрудж», а иногда и просто: «Мэрли»; но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то и на другое имя.

О да! Скрудж вполне изучил свой ручной жернов и крепко держал его в кулаке, милейший человек и старый грешник: скупец напоказ, он умел и нажать, и прижать, и поскоблить, но главное – не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремль, – из него даром и искры не выбьешь без огнива; молчалив был, скрытен и отшельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему лицо, нащипал ему заостренный нос, наморщил щеки, сковал походку и окислил голос. Постоянный иней убелил ему голову, брови и судорожно-лукавый подбородок. Всегда и повсюду он вносил свою собственную температуру – ниже нуля, леденил свою контору в будни и праздники и, даже ради Святков, не возвышал показаний сердечного термометра ни на градус.

Внешний жар и холод не имели на Скруджа ни малейшего влияния: не согревал его летний зной, не зяб он в самую жестокую зиму; а между тем резче его никогда не бывало осеннего ветра; никогда и никому не падали на голову так беспощадно, как он, ни снег, ни дождь; не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни изморози во всем их изобилии. Ничего этого Скрудж не понимал.

Никто и ни разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами: «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за монетой, ни один мальчишка не спросил у него: «Который час?» Никто, ни мужчина, ни женщина, в течение всей жизни Скруджа не спросили у него: «Как пройти туда-то?» Даже собака – поводырь уличного слепца, – и та знала Скруджа: как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота, либо в какой-

нибудь закоулок и начнет помахивать хвостом, словно выговаривает: «Бедняжка мой хозяин! Знаешь ли, лучше уж ослепнуть, чем сплзить добрых людей!»

Да только Скруджу не было до этого никакого дела. Напротив, именно этого он и жаждал. Жаждал пройти жизненным путем одиноко, мимо толпы, с вывеской на лбу: «па-ади-берегись!» А затем – «и пряником его не корми!», как говорят лакомки-дети.

Однажды, в лучший день в году, в сочельник, старик Скрудж сидел в своей конторе и был очень занят. Морозило; падал туман. Скруджу было слышно, как проходящие по переулку дуют себе на руки, отдуваются, хлопают в ладоши и приплясывают, чтобы согреться.

На башне Сити только что пробило три часа пополудни, но на дворе было уж совсем темно. Впрочем, и с утра не светало, и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого, почти твердого на ощупь воздуха. Туман проникал во все щели и замочные скважины, на открытом воздухе он до того уплотнился, что, несмотря на узость переулка, противоположные дома казались настоящими призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе к земле с намерением задымить огромную пивоварню.

Дверь в контору Скруджа была отворена, так что он мог постоянно следить за приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной камерке – некоем подобии колодца. У Скруджа в камельке огонь тлел еле-еле, а у приказчика еще меньше: просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, ведь корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа, и каждый раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предварял его попытки, заявляя, что будет вынужден с ним расстаться. Поэтому приказчик обматывал шею белым «носопрятком» и пытался отогреться у свечи. Но при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно, не достигал своей цели.

– С праздником, дядюшка, и да хранит вас Бог! – раздался веселый голос.

Голос принадлежал племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплох.

– Это еще что за пустяки? – спросил Скрудж.

Племянник так торопился к нему и так разогрелся на морозном тумане, что щеки его пылали, лицо раскраснелось, как вишня, глаза заискрились и изо рта пар валил столбом.

– Как, дядюшка, даже Святки для вас всего лишь пустяки? – заметил племянник Скруджа. – Так ли вы говорите?

– А что же? – ответил Скрудж. – Веселые Святки. Да какое у тебя право веселиться? Разоряться-то на веселье какое право? Ведь и так уж беден...

– Да полно вам бурчать! – возразил племянник. – Лучше ответьте: какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью? Ведь и так уж богаты.

– Ба! – продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу, и к своему «Ба!» прибавил: – Все это глупости!

– Перестаньте же хандрить, дядюшка.

– Поневоле захандришь с такими сумасшедшими. Веселые Святки! Да уж бог с ним, с вашим весельем! Да и что такое ваши Святки? Самое-то время – платить по вексям, а у вас, пожалуй, и денег-то нет... Да ведь с каждым Святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще двенадцать месяцев без прибыли. Нет уж! Будь моя воля, я каждого такого шального, прибежавшего с нелепыми поздравлениями, приказывал бы сварить в котле – с его же пудингом. А уж заодно бы похоронить, чтобы из могилы не убежал, проткнуть ему грудь сучком остролиста... Вот так!

– Дядюшка! – заговорил было племянник, чтобы оправдать праздничные Святки.

– Что, племянничек? – строго перебил дядюшка. – Празднуй себе Святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему.

– Отпразднуете? – повторил за ним племянник. – Да разве так празднуют?

– Ну и не надо!.. Тебе я желаю на Новый год нового счастья, если старого мало.

– Правда: мне кой-чего не достает... Да нужды нет. Новый год ни разу еще не набил мне кармана, а все-таки Святки для меня Святки.

Приказчик Скруджа невольно заплодировал этой речи из уже описанного колодца, но, поняв всю нелепость своего поступка, бросился поправлять огонь в камельке и погасил последнюю искру.

– Если вы еще раз погасите пламя, – сказал ему Скрудж, – вам придется праздновать Святки в другом месте. А вам, сэр, – прибавил он, обратившись к племяннику, – я должен отдать полную справедливость: вы превосходный оратор и напрасно не вступаете в парламент.

– Не сердитесь, дядюшка: будет вам! Приходите к нам завтра обедать.

Скрудж ему ответил, чтобы он пошел к... Право, так и сказал, все слово выговорил, – так-таки и сказал: пошел... (Читатель может, если ему заблагорассудится, договорить эту фразу).

– Да почему же? – вскрикнул племянник. – Почему?

– А почему ты женился?

– Потому что влюбился.

– Любовь! – пробормотал Скрудж, да так пробормотал, как будто после слов «новый год» «любовь» было самым глупым словом в мире.

– Послушайте, дядюшка! Ведь вы и прежде никогда ко мне не заходили: при чем же тут моя женитьба?

– Прощай! – сказал Скрудж.

– Я от вас ничего не хочу, ничего не прошу: отчего же нам не остаться друзьями?

– Прощай! – сказал Скрудж.

– Я и в самом деле огорчен вашей решительностью... Между нами, кажется, ничего не было... по крайней мере с моей стороны... хотелось мне провести с вами первый день года. Но что ж делать, ежели вы не хотите. Я все-таки повеселюсь – и вам того же желаю.

– Прощай! – сказал Скрудж.

Племянник вышел из комнаты, ни полусловом не выразив недовольствия, но остановился на пороге и поздравил с наступающим праздником провожавшего его приказчика – в этом человеке, несмотря на постоянный холод, было все-таки больше теплоты, чем в Скрудже. Поэтому он радушно ответил на поздравление, так что Скрудж услышал его слова из своей комнаты и прошептал:

– Вот еще дурак-то набитый! Служит у меня приказчиком, получает пятнадцать шиллингов в неделю, на руках жена и дети... а туда же, радуется празднику! Ну, разве не сам напрашивается в дом сумасшедших?

В это время набитый дурак, проводив племянника Скруджа, ввел за собой в контору двух новых посетителей: оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, с благовидной наружностью, и оба при входе сняли шляпы. В руках у них были какие-то реестры и бумаги.

– Скрудж и Мэрли, кажется? – спросил один из них с поклоном и поглядел в список. – С кем имену удовольствие беседовать: с мистером Скруджем или с мистером Мэрли?

– Мистер Мэрли умер семь лет назад, – ответил Скрудж. – Ровно семь лет тому умер, именно в эту самую ночь.

– Мы не сомневаемся, что великодушие покойного нашло себе достойного представителя в пережившем его компаньоне! – сказал незнакомец, предъявляя официальную бумагу, уполномочивавшую его на собрание милостыни для бедных.

Сомневаться в подлинности этой бумаги было невозможно; однако же при досадном слове «великодушие» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и вернул посетителю свидетельство.

– В эту радостную пору года, мистер Скрудж, – заговорил посетитель, взяв перо, – было бы желательно собрать посильное пособие бедным и неимущим, страдающим теперь более, чем когда-нибудь: тысячи из них лишены самого необходимого в жизни, сотни тысяч не смеют и мечтать о наискромнейших удобствах.

– Разве тюрьмы уже уничтожены? – спросил Скрудж.

– Помилуйте, – ответил незнакомец, опуская перо. – Да их теперь гораздо больше, чем было прежде...

– Так, стало быть, – продолжал Скрудж, – приюты прекратили свою деятельность?

– Извините, сэр, – возразил собеседник. – Дай-то Бог, чтобы они ее прекратили!

– Так человеколюбивый жернов все еще мелет на основании закона?

– Да! И ему, и закону еще много работы.

– О! А я ведь было подумал, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало существованию этих полезных учреждений... Искренне, искренне рад, что ошибся! – проговорил Скрудж.

– В полном убеждении, что ни тюрьмы, ни приюты не могут христиански удовлетворить физических и духовных потребностей толпы, несколько особ собрали по подписке небольшую сумму для покупки бедным, в честь предстоящих праздников, куска мяса, кружки пива и пригоршни угля... На сколько вам угодно будет подписаться?

– Да... ни на сколько! – ответил Скрудж.

– Вам, вероятно, угодно сохранить анонимность.

– Мне угодно, чтобы меня оставили в покое. Если вы, господа, сами спрашиваете, чего мне угодно, я дам вам ответ. Мне и самому праздник не радость, и я не намерен поощрять бражничанье каждого тунеядца. И без того я плачу достаточно на поддержание благотворительных заведений... то бишь тюрем и приютов... пусть в них и отправляются те, кому плохо в ином месте.

– Да ведь некоторым и появляться там нельзя, а другим легче умереть.

– А если легче, кто же им мешает так и поступать, ради уменьшения нищенствующего народонаселения? Впрочем, извините – все это для меня китайская грамота.

– Однако же вам ничего не стоит ей поучиться?

– Не мое это дело! – возразил Скрудж. – *Довлеет дневи злоба его.* А у меня собственных дел больше, чем дней. Позвольте с вами проститься, господа!

Поняв всю бесполезность дальнейших уговоров, незнакомцы удалились.

Скрудж опять уселся за работу в самодовольном расположении духа.

А туман и потемки все густели, да густели так, что по улицам засверкали уже светочи, предназначенные водить за узду извозчичьих коней и наставлять их на правильные пути. Старая колокольня с нахмуренным колоколом, постоянно наблюдавшим из любопытства в свое готическое окно за конторой Скруджа, вдруг исчезла из виду и уже в облаках стала трезвонить четверти, половину часа и целые часы. Мороз крепчал.

В углу двора несколько работников поправляли газопроводные трубы и разогрели огромную жаровню, вокруг теснилась целая толпа мужчин и оборванных ребятишек: они с наслаждением потирали руки

и шурились на огонь. Кран запертого фонтана обледенел так, что смотреть было противно.

Газовые лампы магазинов озаряли ветки и ягоды остролиста и бросали красноватый отблеск на бледные лица прохожих. Мясные и зеленные лавки сияли такой роскошью, представляли такое великолепное зрелище, что никому бы и в голову не пришло соединить с ними идею расчета и барыша. Лорд-мэр в своей крепости отдавал приказы направо и налево своим пятидесяти поварам и пятидесяти ключникам, как и подобает в сочельник лорд-мэру. Даже бедняга портной (не далее, как в прошлый понедельник подвергнувшийся денежному наказанию в пять шиллингов за пьянство и разгул на улице), даже и тот на своем чердачке принялся хлопотать о завтрашнем пудинге, а тощая его половина с тощим сосунком на руках отправились на бойню купить необходимый для этого кусок говядины.

Между тем туман становится гуще и гуще, холод живее, жестче, пронзительнее. Вот он крепко ущипнул за нос уличного мальчишку, тщедушного, обглоданного голодом, как кость собакой: владелец этого носа прикладывает глаз к замочной скважине скруджской конторы и начинает славить Христа, но при первых словах: «Господи спаси вас, добрый господин!» Скрудж так энергично хватает линейку, что певец в ужасе отбегает, оставляя замочную скважину добычей тумана и мороза, а они тотчас же врываются в комнату... конечно, из сочувствия к Скруджу...

Наконец наступает пора запереть контору: Скрудж угрюмо спускается со своего табурета, словно подавая молчаливый знак приказчику убираться скорее вон: приказчик мгновенно тушит свечу и надевает шляпу.

– Предполагаю, что завтра вы целый день останетесь дома? – спрашивает Скрудж.

– Если это вам удобно, сэр.

– Нисколько это мне не удобно, да и вообще с вашей стороны несправедливо. Если бы за завтрашний день я удержал из вашего жалованья полкроны, я уверен – вы бы обиделись?

Приказчик слегка улыбнулся.

– А между тем, – продолжал Скрудж, – вы не сочтете в обиду для меня, что я должен вам платить за целый день даром.

Приказчик заметил, что это случается только один раз в год.

– Плохое оправдание и плохой повод – запускать руку в чужой карман каждое двадцать пятое декабря, – возразил Скрудж, застегивая пальто до самого подбородка. – Тем не менее я полагаю, что вам нужен целый завтрашний день: постарайтесь же вознаградить меня за него послезавтра, и как можно пораньше.

Приказчик пообещал, и Скрудж, ворча себе под нос, вышел из дома. Контора была заперта в мгновение ока, и приказчик, скрестив оба конца «*носопрята*» на жилете (сюртук он считал роскошью), пустился по Корнгильской панели, поскользнувшись раз двадцать вместе с толпой мальчишек, то и дело падавших в честь сочельника. Во весь дух добежал он до своей квартиры в Кэмдентоуне, чтобы успеть на традиционную игру в жмурки.

Скрудж же уселся за скудный обед в своей обычной грошовой харчевне. Перечитав все журналы и порадовав себя к концу вечера просмотром своей счетной книжки, он отправился домой. Занимал он бывшую квартиру своего покойного товарища; длинный ряд темных комнат в старинном мрачном здании в самом конце закоулка. Бог весть, как оно туда попало? Так и казалось, что смолоду оно играло в прятки с другими домами, спряталось, а потом так и не нашло дороги. Ветхо оно было и печально – кроме Скруджа, в нем никто не жил: остальные квартиры были заняты разными конторами и бюро. Двор был темен до такой степени, что сам Скрудж, хоть и знал наизусть каждую плиту, вынужден был пробираться ощупью. Холод и туман крепко прижались к старой входной двери – так крепко, что вы бы подумали, что на ее пороге присел гений зимы, погруженный в грустные размышления.

Факт первый: в дверном молотке не было ничего замечательного, кроме непомерной величины. Вторым фактом было то, что Скрудж видел этот молоток ежедневно, утром и вечером, с тех самых пор, как поселился в доме. Кроме того, Скрудж обладал так называемым воображением даже менее, чем все остальные представители цехов и гильдий. Не следует также забывать, что в течение целых семи лет, значит, как раз со дня смерти Мэрли, Скрудж ни разу не подумал о покойнике. Учитывая все это, остается только гадать, каким образом случилось, что Скрудж, поворачивая ключ в замке, своими глазами увидел на месте дверного молотка лицо Мэрли. Клянусь: он увидел

лицо Мэрли! Оно не было непроницаемой тенью, как все остальные предметы во дворе, напротив: оно светилось каким-то синеватым светом, подобно гнилому морскому раку в темном погребе. В выражении его не было ничего гневного и свирепого: Мэрли смотрел на Скруджа, как и всегда, приподняв призрак очков на призрак лба. Волосы его шевелились на голове, как будто от какого-то дуновения или от горячего пара, Мэрли глядел во все глаза, но они были неподвижны. Это обстоятельство и синеватый цвет кожи приводили в ужас, хотя Скрудж испугался не мертвенного выражения лица, а, так сказать, испугался самого себя.

Пристально вглядевшись в это явление, Скрудж снова увидел один только дверной молоток. Мы бы погрешили перед совестью, если бы сказали, что Скрудж не ощутил ни дрожи, ни страшного, дотоле незнакомого ему волнения в крови. Однако он быстро повернул ключ, вошел в комнату и зажег свечу. На мгновение он остановился в нерешительности и, прежде чем запереть дверь, поглядел, нет ли кого за ней, словно боялся, что вот-вот покажется в сенях тонкий нос Мэрли. Но за дверью не было ничего, кроме гаек и винтов, придерживавших изнутри дверной молоток.

– Ба! Ба! – сказал Скрудж и сильно захлопнул дверь.

По всему дому прошел громовой гул. Каждая комната наверху и каждая бочка внизу, в винном погребе, приняли особенное участие в этом концерте эха. Скрудж был не из тех, кто пугается эха: он крепко запер дверь, прошел прихожую и стал подниматься по лестнице, поправив на дороге свечу.

Вы станете мне рассказывать о старинных, блаженной памяти, лестницах, по которым могла бы проехать карета в шесть лошадей в ряд или пройти процессия с одним из маленьких парламентских дел, но я вам скажу, что лестница Скруджа была совсем иного сорта: по ней можно было провести дроги поперек, так, чтобы один конец был обращен к стене, а другой к перилам, и это ничего бы не значило, пожалуй, еще место бы осталось. По самой этой причине Скруджу и показалось, что перед ним в темноте поднимается по лестнице погребальное шествие. Полдюжины уличных газовых рожков едва ли могли бы достаточно осветить путь: можете же себе представить, какое яркое сияние разливала свечка Скруджа!

Он поднимался как ни в чем не бывало: ведь темнота ничего не стоит, а потому Скрудж и не чувствовал к ней никакого отвращения. Но прежде всего, войдя к себе, он осмотрел все комнаты, видимо обеспокоенный воспоминанием о таинственном лице.

Гостиная, спальня и кладовая оказались в порядке. Никого не было под столом, никого не было под диваном, комелек тлел и нагревал кастрюлю с кашей (у Скруджа был насморк). Никого не было также и в спальне под постелью, и в кладовой; никто не спрятался за висевшим на стене халатом. Вполне успокоившись, Скрудж запер дверь на замок, в два оборота, надел халат, туфли, ночной колпак, уселся перед огнем и принялся за кашу.

Печка была сложена очень давно, вероятно, каким-нибудь голландским купцом. На изразцах были изображения, заимствованные из Библии: Каины и Авели, дочери фараона, царицы Савские, Вальтасары... а все-таки над всеми ними, казалось, мелькало неотступное лицо Мэрли...

– Вздор! – проговорил Скрудж и стал ходить взад и вперед по комнате.

Вдруг его глаза остановились на старом звонке, давно уже не использовавшемся и проведенном для какой-то цели в нижний этаж дома. Вообразите же изумление и ужас Скруджа, когда этот звонок начал шевелиться: сперва он только качнулся почти без звука, но затем колокольчик так и залился звоном, и ему ответили все остальные колокольчики в доме.

Звенели они никак не более минуты, но эта минута показалась Скруджу целым часом. Колокольчики смолкли так же, как и зазвенели: все вместе. Их звон сменило бряцание железа – словно кто-то внизу, в винном погребе, протащил по бочкам тяжелую цепь. Скрудж вспомнил, что все привидения волочат за собой цепи.

Погребная дверь распахнулась с ужасным стуком, и Скрудж услышал звук цепи сначала в первом жилье, потом на лестнице и наконец прямо напротив своей двери.

– Все это сущий вздор! – сказал Скрудж. – И верить не хочу!

Однако же он переменялся в лице, когда призрак вошел в комнату прямо сквозь запертую толстую дверь. Умиравший огонек вспыхнул в комельке, словно прокричал: «Я его узнаю, это призрак Мэрли!» – и затем погас. Перед Скруджем и в самом деле было настоящее лицо

Мэрли: та же тонкая коса, тот же обычный его жилет, те же панталоны в обтяжку: и шелковые кисточки на сапогах по-прежнему качаются в такт с косой и полами платья. Цепь обвивала его пояс и волочилась за призраком длинным хвостом. Скрудж рассмотрел, что она была собрана из кассовых ящичков, связок ключей, железных засовов, замков, больших книг, папок и тяжелых стальных кошельков.

Тело призрака было до того прозрачно, что Скрудж, взглянув на его жилет, ясно увидел сквозь него две пуговицы, пришитые к спинке кафтана. Но хотя Скрудж припомнил, что и при жизни у Мэрли (по соседским сплетням) не было внутренностей, все еще не верил своим глазам. Однако нынче заметил все до малейшей подробности, даже до фуляра на голове, повязанного под подбородком.

– Что это значит? – спросил он холодно и насмешливо, как и всегда. – Чего вы от меня хотите?

– Многого.

Нет никакого сомнения: то был голос Мэрли.

– Кто вы такой?

– То есть как это – кто я такой?

– Ну, кто же? – переспросил Скрудж, возвышая голос. – Для призрака вы большой пурист...

– При жизни я был вашим товарищем Джейкобом Мэрли.

– Можете ли вы... присесть?

– Могу.

– Садитесь же.

Скрудж предложил призраку присесть, чтобы понять, в состоянии ли сидеть такое прозрачное существо, и чтобы избежать неприятного объяснения. Призрак сел очень развязно.

– Вы в меня не верите? – заметил он.

– Не верю.

– Какого же доказательства моей реальности вы требуете, кроме свидетельства ваших чувств?

– И сам не знаю.

– Отчего же вы не доверяете вашим чувствам?

– Оттого, что их может извратить всякая случайность, всякое расстройство желудка, и в сущности вы, может быть, нечто иное, как ломоть неперевавшего мяса, пол-ложечки горчицы, кусок сыра,

кусочек сырого картофеля? Во всяком случае, от вас пахнет скорее можжевельником, чем можжевельницей.

Скрудж вообще не жаловал острот и теперь менее всего чувствовал охоту остричь, но он пошутил для того, чтобы дать другое направление мыслям и победить свой ужас, ведь голос призрака заставлял его трепетать до самого мозга костей.

Скрудж терпел чертовскую пытку, сидя напротив призрака и не смея отвести взгляд от этих неподвижных стеклянных глаз. И в самом деле, было что-то ужасное в адской атмосфере, окружавшей призрака: Скрудж, разумеется, не мог ее сам ощущать, но он видел, что призрака сидит совершенно неподвижно, а между тем его волосы, полы кафтана и кисти сапог шевелятся, будто от серного пара, вылетающего из какого-то горнила.

– Видите вы эту зубочистку? – спросил Скрудж, чтобы рассеять свой страх и хоть на мгновение оторвать от себя холодный, как мрамор, взгляд призрака.

– Вижу, – ответил призрака.

– Да вы на нее даже и не смотрите!

– Это не мешает мне ее видеть.

– Так вот: стоит мне только ее пролотить – и я до конца своих дней буду окружен легионом домовых. Все это – вздор, говорю вам... Вздор!

При этом слове призрака страшно вскрикнул и так оглушительно, так заунывно потряс цепью, что Скрудж ухватился обеими руками за стул, чтобы не упасть в обморок. Но его ужас удвоился, когда призрака вдруг сорвал с головы фуляр и при этом нижняя его челюсть свалилась на грудь.

Скрудж упал на колени и закрыл лицо руками.

– Боже милосердный! – вскрикнул он. – Проклятое привидение!.. Зачем ты появилось терзать меня?

– Душа плотская, душа земная! – ответил призрака. – Веришь ли ты теперь в меня?

– Я должен верить поневоле?.. – сказал Скрудж. – Но зачем же духи бродят по земле и зачем заходят ко мне?

– Обязанность каждого человека, – отвечал призрака, – соединиться душой с ближним: если он уклоняется от этого при жизни, душа его осуждена блуждать в мире после смерти... Осуждена

она быть бесполезной и безучастной свидетельницей всех явлений этой судьбы, тогда как при жизни она могла бы слиться с другими душами для достижения общего блага.

Призрак вскрикнул еще раз и заломил свои бесплотные руки.

– Вы скованы? – спросил дрожавший Скрудж. – Но скажите, за что?

– Я ношу цепь, которую в жизни сам же выковал себе, звено за звеном, аршин за аршином, сам добровольно надел ее на себя, чтобы добровольно же носить ее всегда. Может быть, тебе нравится этот образ?

Скрудж дрожал сильнее и сильнее.

– Или тебе хочется, – продолжал призрак, – узнать тяжесть и длину твоей собственной цепи? Семь лет назад, изо дня в день, она была так же длинна и тяжела, как моя; потом ты еще потрудился над ней, и теперь, клянусь, славная цепь вышла...

Скрудж посмотрел на пол: нет ли на нем самом железной цепи, саженной эдак в пятьдесят? Но цепи видно не было.

– Джейкоб, – сказал он умоляющим голосом, – старый мой друг Джейкоб Мэрли, поговорите еще со мной, скажите мне несколько слов утешения, Джейкоб!

– Не мне утешать тебя, – ответил призрак, – утешение приносится свыше, иными послами, и к иным людям, чем ты, Эбenezер Скрудж! Я тебе и сказать не могу всего, что бы мне хотелось сказать: я обречен блуждать без отдыха и нигде не останавливаться. Ты знаешь, что на земле моя душа не преступала пределов нашей конторы, вот почему мне суждено теперь совершить еще много тяжелых путешествий!

У Скруджа была привычка, когда он задумывался, засовывать руки в карманы штанов: так поступил он и теперь, при последних словах призрака, но с колен не встал.

– Вы, должно быть, порядком запоздали? – заметил он, как истый деловой человек, однако же с покорностью и с почтительностью.

– Запоздал! – повторил призрак.

– Семь лет как умер, – рассуждал Скрудж, – и все время в дороге...

– Все время! – сказал призрак. – И ни отдыха, ни покоя, и непрерывная пытка угрызениями совести...

– Быстро вы путешествуете? – спросил Скрудж.

– На крыльях ветра, – ответил призрак.

– Должно быть, много стран повидали! – продолжал Скрудж.

Призрак вскрикнул в третий раз и так загремел цепью, что дозор имел бы полное право представить его в суд за ночной шум.

– О горе мне, скованному узнику! – простонал он. – Горе мне за то, что я забыл обязанность каждого человека – служить обществу, великому делу человечества, предначертанному верховным существом, забыл, что поздним сожалением и раскаянием не искупил утраченного случая к пользе и благу ближнего! И вот мой грех, вот мой грех!

– Однако же вы всегда были человеком исполнительным, умели отлично вести дела... – пробормотал Скрудж, начиная применять слова призрака к самому себе.

– Дела! – крикнул призрак, снова заламывая руки. – Моим делом было все человечество; моим делом было общее благо, человеколюбие, милосердие, благодушие и снисходительность: вот какие были у меня дела! А торговые обороты – лишь капля в безбрежном океане моих былых дел!

Он поднял цепь во всю длину руки, словно указывал на причину своих бесплодных сожалений, и снова бросил ее на пол.

– Более всего я страдаю, – продолжал призрак, – именно в эти последние дни года. Зачем проходил я тогда мимо толпы и опускал глаза лишь на блага земные, но не возносил их горе, к благодатной, путеводной звезде волхвов?! Быть может, ее свет привел бы и меня также к какой-нибудь бедной обители...

Скрудж очень испугался подобного оборота и задрожал всем телом.

– Слушай! – крикнул ему призрак. – Назначенный мне срок скоро должен закончиться...

– Слушаю, – сказал Скрудж, – только прошу вас пощадить меня, Джейкоб: нельзя ли болтать поменьше...

– Я не могу объяснить тебе, почему явился в теперешнем моем образе. Мне столько и столько раз приходилось сидеть рядом с тобой незримо...

Это признание было не из слишком приятных: Скрудж содрогнулся и вытер со лба холодный пот.

– Да еще это наказание – не самое тяжелое... Я послан известить тебя, что тебе предоставлен удобный случай и дана надежда избежать моей участи. Слушай же, Эбенезер!..

– Вы всегда были ко мне благосклонны и дружелюбны, – сказал Скрудж. – Благодарю вас.

– Тебя посетят три духа, – прибавил призрак.

Лицо Скруджа мгновенно подернулось такой же бледностью, как у самого призрака.

– Про этот удобный случай и про эту надежду говорили мне вы, Джейкоб? – спросил он ослабевшим голосом.

– Да.

– Я... я... полагаю, что лучше бы без них как-нибудь?

– Без их посещения для тебя нет надежды избежать моей участи.

Ожидай *первого* завтра, ровно в час.

– Не могу ли я принять всех их трех разом, Джейкоб? – заметил вкрадчиво Скрудж.

– Ожидай *второго* в том же часу на следующую ночь, а *третьего* – на третью, как только пробьет последний удар двенадцати. Меня не надейся увидеть еще раз; но ради собственной выгоды помни о том, что было между нами.

Он взял со стола и повязал по-прежнему свой набородник. Скрудж поднял глаза и увидел, что таинственный посетитель стоит перед ним, полностью обмотанный цепью.

Привидение попятилось к окну, и с каждым его шагом окно поднималось выше и выше и наконец поднялось совсем.

Тогда призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. На расстоянии последних двух шагов тень Мэрли подняла руку, не допуская подходить ближе. Скрудж остановился, но уже не из повиновения, а из изумления и страха: в воздухе пронесся какой-то глухой шум и раздались несвязные звуки: вопли отчаяния, тоскливые жалобы, стоны, вырванные из груди раскаянием и угрызениями совести.

Призрак прислушивался к ним мгновение, а потом присоединил свой голос к общему хору и исчез в бледном сумраке ночи.

С лихорадочным любопытством Скрудж подошел к окну и выглянул в него.

Воздух был наполнен блуждающими и стонущими призраками. Каждый, подобно тени Мэрли, волочил за собой цепь; некоторые (может быть, секретари министров с одинаковыми политическими убеждениями) были скованы попарно; свободных не было ни одного. Некоторых при их жизни Скрудж знал лично. Наказание всех состояло, очевидно, в том, что они старались, хотя уже и поздно, вмешаться в людские дела и сделать кому-либо добро; но они утратили эту возможность навсегда.

Сами ли слились эти фантастические существа с туманом, туман ли накрыл их своей тенью? Скрудж не знал; только они исчезли, голоса их смолкли разом, и ночь опять стала такой, какой была при возвращении Скруджа домой.

Он закрыл окно и тщательно осмотрел входную дверь: она была заперта на два оборота, замки были целы. Изнеможенный и усталый Скрудж бросился, не раздеваясь, в постель и тотчас же заснул...

Вторая строфа

Первый из трех

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что он едва разглядел, где прозрачное окно, а где непрозрачные стены комнаты. Тщетно силился он напрягать свои хорьковые глаза – до тех пор, пока часы соседней церкви не пробили четыре четверти: Скрудж прислушивался и все-таки точного времени не узнал.

К великому его изумлению, тяжелый колокол пробил сначала шесть, а потом семь, а потом восемь, и так до двенадцати, затем остановился.

Полночь! Он, стало быть, спал уже два часа? Или то часы неверно бьют? Не попала ли в волосок льдинка? Полночь!

Скрудж поднял к свету свои часы с репетиром, чтобы проверить колокольные часы, по его мнению, звонившие вздор. Скоренькие часишки ударили двенадцать раз и смолкли.

– Как же так! Не может этого быть, – пробормотал Скрудж, – чтобы я спал целый день и проспал еще ночь. Не может быть, чтобы солнце повернулось с полуночи на полдень!

Эта идея расшевелила его до того, что он соскочил с постели и подошел к окну. Ему пришлось протереть стекло рукавом халата,

чтобы разглядеть что-нибудь. Увидел же он только, что очень холодно, что туман так и не поднимался, что разные господа проходят взад и вперед, проходят и шумят, как обычно, когда ночь и мороз прогонят день и завладеют миром. Скруджу это принесло большое облегчение, ибо, без этого, что были бы все заемные трехдневные обязательства, подписанные на имя мистера Эбenezера Скруджа? Они были бы только залогом на туманы над Гудзоном.

Скрудж не понял бы трех часовых четвертей, не понял бы и четвертой, если бы, зазвонив, она не напомнила ему об ожидаемом им посещении.

Он лег опять на постель и решил не спать до тех пор, пока на колокольне не прозвонит последняя четверть: заснуть – значило бы поглотить месяц. Решительность Скруджа была, по крайнему нашему убеждению, весьма разумной.

Эта четверть часа показалась ему такой долгой, что он засыпал несколько раз, сам того не замечая и не слыша, как били часы. Наконец он услышал: «Динь! Дон!»

«Четверть!» – понял Скрудж.

«Динь! Дон!»

– Полчаса, – сказал Скрудж.

«Динь! Дон!»

– Три четверти! – прошептал Скрудж.

«Динь! Дон!»

– Час! – крикнул восторжествовавший Скрудж. – И никого!

Он проговорил это, пока били часы, но не затих еще последний удар – глухой, тоскливый, похоронный, – как комната залилась ярким светом и кто-то отдернул занавески вокруг постели. Но не те, что были за спиной, не те, что были в ногах, а те, что были возле лица...

Скрудж приподнялся – и лицом к лицу предстал перед ним таинственный посетитель, отдернувший занавески.

Фигура была странная... Похожа на ребенка и на старика, что-то сверхъестественно среднее, что-то такое, что получило способность скрывать свой рост и прикидываться ребенком. Волосы у него обвивались около шеи и падали на спину, седые, будто и в самом деле от старости, а на лице не было ни морщинки. Кожа была свежа, как у ребенка, а длинные руки красовались мускулистыми кистями – признак необыкновенной силы. Голые ноги и икры были у него так

развиты, как будто бы легко и бесчувственно нес он на них все бремя жизни. На нем была белая-белая туника, перетянутая ярким блестящим поясом.

В руках он держал зеленую ветвь остролиста, только что срезанного и, вероятно ради противоречия этой эмблеме зимы, усеянного всевозможными летними цветами. Но что еще страннее было в его одежде – то, что поверх его головы сверкало сияние, озарявшее, вероятно, в минуты радости и горя все мгновения жизни. Свет этот исходил, как я уже сказал, из его головы, но он мог его погасить, когда хотел, большой воронкой, или чем-то, на нее похожим, – воронкой, прижатой под мышкой.

Тем не менее этот инструмент, какой бы он ни был, не привлек исключительного внимания Скруджа. Занял его, собственно говоря, пояс: то там блеснет, то здесь, то потухнет, и вся физиономия его обладателя принимает соответственное выражение. То существо однорукое, то – одноногое, то – на двадцати ногах без головы, то – голова без тела: члены исчезали, не позволяя видеть перемены в своих причудливых очерках. А потом он снова становился самим собой, больше чем когда-нибудь.

– Милостивый государь, – спросил Скрудж, – вы ли предсказанный мне дух?

– Я.

Голос был так сладок, так приятен и так тих, как будто шептал не на ухо Скруджу, а где-то далеко.

– Да кто же вы? – спросил Скрудж.

– Прошлый праздник.

– Прошлый? Давно ли? – продолжал Скрудж, вглядываясь в рост карлика.

– Последний.

Если бы кто-нибудь спросил Скруджа «почему?», он бы не ответил, но все-таки сгорал желанием нахлобучить на посетителя известную уже читателям воронку – и попросил об этом духа.

– Вот еще! – крикнул призрак. – Не угодно ли вам погасить мирскими руками небесное пламя? Вот еще фантазии!.. Да не вы ли один из тех, что надели на меня эту шапку только из черствого самолюбия и заставили нести ее века и века?..

Скрудж отрекся почтительно от всякого намерения оскорбить или «*принакрыть*» какого бы то ни было духа. Потом он осмелился спросить: что ему угодно?

– Вашего счастья, – ответил призрак.

Скрудж поблагодарил, но никак не мог удержаться от мысли, что спокойная ночь гораздо скорее достигла бы предложенной цели. Вероятно, дух поймал его мысль на лету, потому что немедленно сказал:

– Вашего счастья, то есть вашего спасения... так берегитесь же...

Он протянул свою крепкую руку и тихонько взял под руку Скруджа.

– Встаньте и идите за мной! – сказал он.

Напрасно Скрудж попытался бы протестовать, что время года и час не соответствуют пешеходной прогулке, что в постели ему гораздо теплее, чем на дворе, что термометр стоит гораздо ниже нуля, что он слишком легко одет, лишь в туфлях, халате и ночном колпаке, да к тому же у него и насморк, – напрасна была бы вся эта проповедь: не было никакой возможности освободиться от пожатия этой женственно мягкой руки. Скрудж встал, но, заметив, что дух направляется к окошку, ухватился за полы его одежды, умоляя:

– Вы подумайте: я ведь смертный, я и упасть могу.

– Позвольте только прикоснуться сюда, – сказал дух, положив ему руку на сердце. – Вам придется вынести много еще пыток.

Не успел он договорить, как они пролетели сквозь стены и очутились на поле. Города как не бывало. Разом исчезли и тьма, и туман: день был зимний, и белел снег.

– Господи! – сказал Скрудж, всплеснув руками и всматриваясь. – Да ведь здесь я вырос!

Дух посмотрел на него благосклонно. Тихое мгновенное его прикосновение пробудило в старике былую чувствительность: пахло на него чем-то прошлым, чем-то таким ароматным, что так и повеяло воспоминаниями о прежних надеждах, прежних радостях и прежних заботах, давным-давно забытых!

– У вас губы дрожат! – сказал призрак. – И что это у вас на щеке?

– Ничего, – прошептал Скрудж странно взволнованным голосом. – Не страх мне вырвал щеку, это не признак его, а просто ямочка. Ведите меня, куда надо.

– А дорогу вы знаете? – спросил дух.
– Я-то! – крикнул Скрудж. – Да я найду ее с завязанными глазами.
– Странно в таком случае, что вы не забыли ее в течение стольких лет! – заметил дух. – Пойдемте.

Пошли по дороге; Скрудж узнавал каждые ворота, каждую вереву, каждое дерево, до тех пор пока перед ними не показался в отдалении городок с мостом, собором и извилистой речкой. Несколько длинногривых пони, запряженных в тележки, протрусили мимо. На пони сидели мальчишки и весело перекликались.

– Это ведь только тени прошлого, – сказал призрак, – они не видят нас.

Веселые путешественники проезжали мимо, и Скрудж узнавал каждого из них и называл по имени.

И почему он был так рад их видеть? И почему его взгляд, постоянно безжизненный, вдруг оживился?

И почему его сердце задрожало при виде этих проезжих? И почему был он так счастлив, когда слышал обоюдные поздравления с наступающим праздником на пути ко всякому перекрестку? И разве мог быть для Скруджа веселый рождественский праздник? Для него веселый рождественский праздник был парадоксом. Ничего он ему никогда не приносил.

– Школа еще не совсем опустела: там остался одинокий ребенок, забытый всеми товарищами! – сказал дух.

– Я знаю, – кивнул Скрудж и глубоко вздохнул.

Свернули они с большой дороги на проселок, отлично знакомый Скруджу, и приблизились к строению из темного кирпича с флюгерком наверху.

Над крышей висел колокол. Дом был старинный, надворные строения пустовали: стены их насквозь отсырели и обросли мхом, стекла в окнах были перебиты, двери соскочили с петель. В конюшнях чванливо кудахтали куры; сараи и амбары поросли травой. И внутри не сохранило это здание своего бывшего вида – кто бы ни вступил в темные сени, кто бы ни взглянул в раскрытые двери на длинный ряд отворенных комнат, увидел бы, как они обеднели, обветшали, как они холодны и как тоскуют в одиночестве. Пахло холодной ногой тюрьмой или рабочим домом, где каждый день выбивались из сил и все-таки голодали. Дух и Скрудж прошли в заднюю дверь и увидели

длинный печальный зал с сосновыми школьными скамьями и пюпитрами, стоящими в ряд. У одного из пюпитров, пригретый слабым печным огоньком, сидел ребенок и что-то читал. Скрудж сел на скамейку и заплакал, узнав самого себя, постоянно забытого и покинутого.

Не было ни одного отзвука, заглохшего в доме, ни писка мышей, дравшихся за обоями, ни единой полузамороженной капли, падавшей на задворках из водомета, ни шелеста ветра в безлистных ветвях тощего тополя, ни скрипа дверей опустевшего магазина, ни треска огонька в комельке – ничего, ничего, что бы не прозвучало в сердце Скруджа, что не выдавило бы у него из глаз обильного ручья слез.

Дух тронул его за руку и указал ему на ребенка, на этого самого Скруджа – «самого себя», углубившегося в чтение.

– Бедный ребенок! – сказал Скрудж и опять заплакал. – Хотелось бы мне, – прошептал он, засунув руку в карман, оглядываясь и отирая рукавом глаза, – хотелось бы мне, да поздно...

– Что такое поздно? – спросил дух.

– Ничего, – ответил Скрудж, – ничего. Вспомнил я о мальнике... Вчера у меня Христа славил... Хотелось бы мне дать ему что-нибудь: вот и все...

Призрак задумчиво улыбнулся, махнул Скруджу рукой, чтобы замолчал, и проговорил:

– Посмотрим на новый праздник.

Скрудж увидел самого себя уже подростком в том же зале, только более темном и сильнее закопченном. Подоконники растрескались, полопались стекла; с потолка осыпалась известка и оголила основную балку. Но как это все воочию совершилось, Скрудж не понял точно так же, как и вы, читатели.

Но понял он вот что: что все это – было, что из тогдашних школьников остался он в этом зале один, как и прежде, а все остальные, как и прежде, убрались восвояси, повеселиться на Святках.

Читать он уже не читал, но шагал по знакомому залу взад и вперед, один, в полном отчаянии.

Скрудж посмотрел на юного духа, тоскливо покачал головой и тоскливо плюнул на дверь. Дверь распахнулась настежь, и в нее влетела стрелкой маленькая девочка. Обвила руками вокруг шеи Скруджа и стала целовать, лепеча:

– Голубчик, голубчик мой братец, я *за тобой* приехала! – Она хлопала в ладоши маленькими своими ручонками и покатывалась со смеху. – Домой! Домой! Домой!

– Домой, моя малютка Фанни? – спросил мальчик.

– Домой! – повторила она, просияв всем лицом. – И навсегда, навсегда!.. Папенька теперь такой добрый, что в доме рай. Как-то вечером, на ночь, стал он говорить со мной так нежно, что я уже не побоялась спросить у него: нельзя ли взять тебя на праздник домой? Отвечал: «можно». И повозку со мной прислал. Неужели ты уже большой? – продолжала она, глядя на Скруджа во все глаза. – Стало быть, ты сюда никогда больше не вернешься?.. На Святках мы с тобой повеселимся.

– Да ведь, кажется, и ты уже женщина, малюточка Фанни? – крикнул юноша.

Опять Фанни захлопала в ладоши и опять покатилась со смеху. Потом хотела погладить Скруджа по голове, но по малости своего роста не достала, снова расхохоталась и приподнялась на цыпочки – поцеловать. А после, во имя этого ребячески откровенного поцелуя, потащила его к двери, и пошел он за ней без малейшего сожаления о школе.

В сенях они услышали страшный голос:

– Выкинуть чемодан мистера Скруджа!.. Скорей!..

Вслед за этим голосом появился и сам его обладатель, наставник школьника, – потряс ему руку так, что привел его в неопикуемый трепет. Затем и брата, и сестрицу пригласил он в отживший свой век зал, до того низкий, что можно было принять его за погреб, и до того холодный, что в простенках окон мерзли и земные, и небесные глобусы. Пригласил и попотчевал молодых людей таким легоньким винцом и таким тяжелым пирожком – словом, такими лакомствами, что, когда выслал невзрачного своего служителя – угостить чем-нибудь ожидавшегося почтальона, – почтальон отвечал, что, если вчерашним винцом, уж лучше бы не подносил. Тем временем чемодан мистера Скруджа был укреплен на верх повозки, дети радостно простились с воспитателем и весело пронесли по саду, вспенивая колесами экипажа и снег, и иней, обсыпавший хмурые листья деревьев.

– Была в ней искра Божьего огонька, – сказал призрак, – и задуть ее можно было одним дуновением, да сердце-то у нее билось горячо...

– Правда ваша, – отвечал Скрудж, – и борони Бог мне с вами об этом спорить.

– Ведь она, кажется, была замужем, – спросил дух, – и умерла, оставив после себя двоих детей?

– Одного, – отвечал Скрудж.

– Ваша правда, – продолжал дух, – одного вашего племянника.

Скруджу стало как-то неловко, и отвечал он коротко:

– Да.

Несмотря на то что Скрудж только что выехал из школы, он очутился на многолюдных улицах какого-то города: словно тени, пронеслись перед ним не то люди, не то тележки, не то кареты, оспаривавшие друг у друга мостовые, и перекликались на мостовых и шум, и всевозможные возгласы настоящего города. По ярким выставкам товаров в лавчонках и магазинах было ясно, что и там празднуют канун Рождества Христова. Как ни темен был вечер, улицы осветились.

Дух остановился у двери какого-то магазинчика и спросил у Скруджа: узнает ли?

– Это что за вопрос? – сказал Скрудж. – Ведь здесь я учился, здесь приказчиком был.

Они вошли. При виде старичка в уэльском парике, засевшего за конторкой так высоко, что, будь в этом джентльмене еще хоть два дюйма росту, он бы обязательно стукнулся теменем о потолок, взволнованный Скрудж крикнул:

– Да, ведь это сам Фецивик воскрес, да простит старика Всевышний!

Старик положил перо и взглянул на часы: было семь. Весело потер он руки, одернул широкий камзол, засмеялся с головы до пяток и провозгласил:

– Эбenezер! Дик!

Тот, другой Скрудж вошел в сопровождении своего бывшего товарища.

– Да, это сам Дик Уилльинс! – заметил Скрудж призраку. – Да смилуется надо мной Бог: это он, когда-то настолько мне преданный!

– Ну же, ну, ребята! – кричал Фецивик. – Что нынче за работа?.. Сочельник, Дик! Сочельник, Эбенезер! Живо ставни на запор!

Вы никогда и не поверите, как кинулись оба на улицу со всех ног: раз-два-три – и дело было сделано!.. Только запыхались, как скакуны...

– Ого-го! – кричал Фецивик. – Долой все отсюда, ребята! Простору – простору! Мигом, Дик, мигом, Эбенезер!

Долой!.. да они бы синя пороха не оставили в глазах у самого Фецивика... Все подъемное исчезло в мгновение ока; пол был выметен и спрыснут; лампы зажжены; в комелек брошен целый ворох угля; из магазина вышла бальная зала, такая же теплая, сухая и освещенная, какой и подобает ей быть для святочного вечера. Появился вдруг и скрипач с нотами, вскарабкался на кафедру и стал пилить по струнам – хоть за бока держись!.. Появилась и леди Фецивик – олицетворенная улыбка во весь рот; появились и три боготворимо сияющие мисс Фецивик, а за ними и шестеро несчастливцев, пронзенных стрелами девственных очей в самое сердце, а за ними вся молодежь, прислуживавшая в доме, – служанка со своим двоюродным братцем булочником; кухарка с неизменным другом своего брата; голодный, по подозрению, что его не кормит хозяин, сосед приказчик с девушкой, которую его хозяйка достоверно теребила за уши... Все это вышло, все заплясало и совершенно сбило с толку старую чету Фецивиков, неустанно путая фигуры и теряя каданс... Наконец старику пришлось хлопнуть в ладоши и крикнуть скрипачу: «Баста!» Артист утешился, опрокинув в горло заранее приготовленный жбан пива, и перестал пиликать. И немедленно принялся опять за свое с прежним, нет, не с прежним, с новым жаром, словно ему вскочил на плечи еще такой же ярый музыкант.

Потом еще поплясали, вынули фанты, поплясали опять; потом отведали праздничного пирога и шипучего лимонада, да чуть не полбыка, да пирожков с мясным фаршем, да холодного бульона, да многое множество пива... Но наибольший восторг, после бульона и жаркого, произвел скрипач (между нами – такой чертовской плут, что ни мне, ни вам не провести его), когда запиликал «Сэра Роберта де Коверлея», песню, которую мигом узнавали все. Тогда-то вышел на средину старик Фецивик с миссис Фецивик. Оба они стали в главе танцующих. Вот такая уж у них была работа: вести и направлять

двадцать игр, или двадцать четыре пары, а шутить с ними было нелегко!.. Но, если бы пар было больше вдвое или даже вчетверо, старик Фецивик и тогда бы не отказался пробить стены лбом, да и миссис Фецивик также... Потому что являла она собой достойную, истинно *полную* половину мистера Фецивика... Если это не похвала, поищите что-нибудь другое: я, со своей стороны, отказываюсь. Икры господина Фецивика – да простят нам это сравнение – были решительно фазисами месяца; появлялись, исчезали, появлялись снова... И когда старая чета Фецивиков окончательно исполнила: «авансе-режюле; руки дамам; балане салюе; тир-бушон; нитка в нитку и по местам», Фецивик так легко выделявал антраша, как будто бы перебирал ногами на флажолете, а потом вдруг выпрямлялся на тех же ногах...

Наконец в одиннадцать часов бал закончился и супруги, пожимая руки посетителям, на прощание поздравили их с наступающим праздником. Пожали они на прощание руки и своим приказчикам, а те, как им и подобало, отправились залечь в заприлавочную.

Все это время Скрудж был, говоря по правде, чем-то вроде бесноватого. Душой и сердцем слился он со вторым «я»: везде и повсюду он узнавал самого себя, с былыми радостями, восторгами и надеждами. Только тогда, когда его собственное и Дика сияющие лица исчезли, только тогда он опомнился, стал *настоящим* Скруджем и вспомнил о духе...

А дух впился в него своим пронзительным взором, и над его головой ярче и ярче сверкало пламя.

– А ведь не так много требуется, – сказал он, – чтобы внушить этим дурачкам чувство благодарности?

– Не так много? – повторил Скрудж.

Дух подал ему знак вслушаться в разговор молодых приказчиков: от всей полноты души превозносили они Фецивика...

– А за что они его восхваляют? – осведомился дух. – Кажется, из-за безделицы: трех-четырёх фунтов стерлингов, считая на ваши земные цены? Неужели же стоит его за это славословить?

– Не в том дело, – заметил Скрудж, невольно преображенный в свое бывшее «я», – дело не в том, дух!.. От Фецивика зависит наша доля: хорошо ли, не хорошо ли будет нам у него служить – все это зависит от него, от его взгляда, его улыбки, от всего, чего нельзя ни

перекинуть на счетах, ни в конторскую книгу внести. И что же! Скажет слово – золотом осыплет.

Скрудж, говоря это, успел уловить пронзительный взгляд духа, брошенный искоса, и замолчал.

– Что с вами? – спросил призрак.

– Ничего особенного, – ответил Скрудж.

– Однако же мне показалось?.. – настаивал призрак.

– Ничего! – поспешил удостоверить Скрудж. – Ничего!.. Хотелось бы мне только сказать два-три слова моему приказчику... Вот и все.

В это время *былое «я» Скруджа* угасило лампу, и призрак вместе с Скруджем очутились бок о бок на вольном воздухе.

– Мне пора! – проговорил дух. – Живей!

Это слово было сказано не Скруджу, не кому-либо из видимых им лиц, но воплотилось оно, и Скрудж снова увидел второе «я». Был он, правда, немного постарше – в полном расцвете лет, как говорится. На лице его были уже признаки возмужалости, но и скупость успела провести по нему свою бороздку. По одним беспокойно бегавшим глазам можно было догадаться, какая страсть овладела этой душой; по тени можно было уже определить росток дерева.

Теперь Скрудж был не один: рядом с ним сидела молодая красивая девушка в трауре, и слезы в ее глазах отсвечивали Скруджу былым сочельником, озаренным сиянием призрака.

– Нет нужды, – говорила она тихим голосом, – нет нужды, вам по крайней мере! Другая страсть заменила вашу, перед другим идолом преклонилась ваша душа.

– Перед каким это идолом? – спросил Скрудж.

– Перед золотым тельцом.

– И вот людская справедливость! – вскрикнул он. – Ничего люди так жестоко не преследуют, как бедность, и ни против чего так не ожесточаются, как против желания разбогатеть.

– Вы слишком боитесь общественного мнения, – так же нежно продолжала молодая девушка. – Вы пожертвовали лучшими вашими надеждами, дабы избежать позорного светского приговора. Была я свидетельницей, как ваши благороднейшие стремления стирались одни за другими, – все в жертву единственной вашей страсти: корысти. Правда?

– Так что же? Положим, что я умнею с годами... Для вас-то я все тот же!

Она покачала головой.

– Разве я изменился?

– У нас давнишние обязательства... Скрепили мы их, бедняги, оба довольные убогим жребием, и оба выжидали случая устроиться. Вы очень изменились с тех пор...

– Да ведь я тогда был ребенком, – нетерпеливо заметил Скрудж.

– Ну а теперь вас тяготят наши прежние обязательства?

– Я этого не говорил, – опять заметил Скрудж.

– Не говорили, но показывали. А если бы я вас освободила от вашего слова, предложили ли бы вы мне свою руку, как прежде?

Скрудж хотел было ответить, но она продолжала:

– Вы поступили бы плохо, женившись на мне, потому что скоро бы раскаялись и с радостью ждали бы дня нашей несомненной разлуки.

Вот что сказала она и исчезла.

– Дух! – начал Скрудж. – Нельзя ли мне ничего такого не показывать? Отведите меня домой... что вам за охота меня мучить?

– Еще одна тень! – крикнул призрак.

– Ой, нет, нет!.. – завопил Скрудж. – Не показывайте мне ничего такого...

Но неумолимый призрак сжал его в своих крепких объятиях и насильно заставил вглядываться в былое.

Мигом перенеслись они в иное место, и иной вид поразил их взгляды. Увидели они небольшую, не роскошную, но приятную и удобную комнату. У жарко разведенного зимнего комелька сидела хорошенькая молодая девушка, до того похожая на *первую*, что Скрудж сбился было с толку. Но скоро увидел он и свою первую знакомую, уже мать семейства, окруженную, не считая старшей дочери, целой ватагой детей. Нельзя даже и приблизительно представить себе, какой был шум и гам, поднятый ребятишками. Так и напоминали они старую сказку о сорока молчаливых детях, только наоборот: каждый из них сошел бы один за сорок.

И вдруг все смолкло...

С громом распахнулась входная дверь, и вошел сам отец семейства – с игрушками... Вмиг были они расхватаны, и вмиг вся

ватага скрылась в своей комнате. Освободившийся счастливый отец уселся между женой и дочерью. Тогда-то понял Скрудж значение великих слов отца и мужа и понял все, что он потерял в жизни. Отер он глаза...

– Белла, – сказал муж, – видел я сегодня вечером твоего старогостарого друга...

– Неужели Скруджа?

– Его. Шел мимо конторы, увидел свет, заглянул в окно, один, как всегда... Говорят, его подручный умирает.

– Дух! – прошептал, задыхаясь, Скрудж. – Увели бы вы меня отсюда...

– Я вам обещал, – сказал дух, – показать тени прошлого, не пеняйте на меня, если бывшее было...

– Уведите меня, – говорил Скрудж. – Не могу я больше переносить этого зрелища!..

Взглянул он на духа, увидел, что по непонятному стечению обстоятельств *может рассмотреть* он на его лице все бывшие, знакомые ему лица, – увидел и бросился на него.

– Отстань от меня! Оставь меня! Перестань меня мучить! – кричал он.

Среди возникшей борьбы, если можно употребить слово «борьба» (потому что дух и пальцем не пошевелил), Скрудж заметил, что сияние над головой его противника разгоралось больше и больше.

Поняв, насколько сильно нынче влияет на него дух, Скрудж схватился обеими руками за известную читателям воронку-гасильник и нежданно нахлобучил ее на призрака. Тот и присел, на сколько хватило воронки.

Но тщетно налегал Скрудж всем телом на этот гасильник: сквозь его металлические стенки все равно пробивались яркие лучи и рассыпались по полу. Скруджа давно уже клонило ко сну; он сделал последнее усилие изнеможенной рукой – надавил гасильник и упал на свою постель, настолько сонный, что можно было счесть его и мертвым...

Третья строфа

Второй

Разбуженный чьим-то богатырским храпом, Скрудж приподнялся на постели и не стал задавать вслух вопрос: «*Который час?*» Сердцем он почуял: был именно *час!* Вспомнил Скрудж очень ясно вещие слова Мэрли, и пробежала у него дрожь от головы до пяток, когда кто-то отдернул у него занавески прямо с лицевой стороны кровати...

Не угодно ли, господа вольнодумцы, полежать минутку-другую под одной простыней с досточтимым мистером Скруджем?

Никто не отдергивал занавесок, но из ближайшей комнаты врывался во все скважины какой-то фантастический свет, и Скрудж начал раздумывать: нет ли и в самом деле кого-нибудь там, рядом? Разумеется, так и оказалось: его кто-то даже и позвал. Отворил он дверь на голос, в ближайшую комнату, вошел со свечкой и увидел...

Увидел он свою собственную гостиную, но значительно измененную. Стены и потолок были затканы сеткой зелени и красовались алыми ягодами, словно в гостинной целая роща поднялась за вечер...

В листочках остролиста, омелы и плюща свет отражался и играл, как в мириадах маленьких зеркал. В камине трещал и пылал огонь, да такой, что такого огня никогда, ни в одну зиму, даже и не подозревал тощий холодеющий комелек «Скруджа и Мэрли». На полу лежали высокой кучей на чем-то вроде огромного подиума: индейки, гуси, всякая дичь и живность, самое разное мясо – поросята, окорока, аршинные сосиски, колбасы, пирожки с фаршем, пудинги, бочонки с устрицами, печеные каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины и груши, громадные «крещенские» пироги – и за всем за этим полные аромата чаши с пуншем... Веселый великан «на показ» заседал, потягиваясь, на диване; в руке у него было что-то похожее на рог изобилия, и он его приподнял, когда Скрудж заглянул в полуоткрытую дверь.

– Войдите! – крикнул призрак. – Войдите, не бойтесь... Познакомьтесь со мной, любезный!

Скрудж вошел с робким поклоном: был он уже не прежний хмурый Скрудж, и, хотя благосклонным взором глядел на него дух, Скрудж все-таки не поднимал глаз.

– Я – нынешний *праздник!* – сказал дух. – Взгляните на меня...

Скрудж почтительно повиновался. Праздник был не то в халате, не то в тунике, но только в чем-то темно-зеленого цвета и с белой меховой выпушкой. Эта одежда была накинута на него так небрежно, что вся его широкая грудь вышла наружу. Ноги также были обнажены, а на голове только и убора, что веночек из остролиста, осыпанный алмазами инея. Длинные черные кудри свободно развевались; глаза горели, рука была протянута дружески; голос звучал радостно; все его приемы были положительно непринужденны. На бедре у него висели ржавые ножны без шпаги.

– Вы еще никогда *такого* не видели? – крикнул дух.

– Никогда еще, – ответил Скрудж.

– Разве вам никогда не случилось столкнуться по дороге с моими меньшими... – виноват! – с моими старшими братьями?.. Я ведь так еще молод!.. – говорил дух.

– Боюсь, право боюсь, что не случилось, – отвечал Скрудж. – А много у вас братьев, дух?

– Да... тысяча восемьсот с чем-то, – проговорил дух.

– Семейка! – прошептал Скрудж. – Вот так расходец...

Дух приподнялся с места.

– Послушайте! – сказал Скрудж. – Отведите меня куда-нибудь; я сегодня получил такой урок, что вовек не забуду...

– Притроньтесь к моей одежде, – отвечал ему дух.

Скрудж так и вцепился. Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, дичь, живность, окорока, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, плоды и пунш – все мигом исчезло. Исчезли к тому же и комната, и огонь в камине, и красноватый отблеск огня, даже и ночь сама – все исчезло.

Очутились они уже утром, рождественским утром, на улице. Холодненько было; обыватели разыгрывали несколько дикий, но оживленный концерт, скребя панели перед своими домами и сметая снег с крыш, к вящей радости мальчишек, восторгавшихся этими искусственными лавинами.

Фасады домов чернели на белой скатерти снега, и еще более чернели на ней черные окна... Но все это не мешало чистильщикам на крышах: они перекликались между собой, перекидывались снежками и хохотали от чистого сердца, если промахивались.

Зеленные лавки и фруктовые магазины сияли в полном блеске: пузатые каштаны, которых – так вот и кажется – хватит удар; испанский чеснок – фотография рыжеватых монахов его родины, с задирающими взглядами на девушек; опять-таки груши; опять-таки яблоки, скученные во вкусные пирамиды; кисти винограда, затейливо развешенные продавцами, именно на том месте, чтобы у покупателей слюнки потекли; вороха орехов мшистых и смуглых, с запахом любовных лесных прогулок, по щиколотку в сухих листьях, сочные апельсины и лимоны – все это так и просилось прямо в рот. Золотые и серебряные рыбки, несмотря на всю апатичность своей природы, также суетливо разевали рты, как будто собирались что-нибудь проглотить. Именно в этот самый день у приказчика Скруджа, мистера Крэтчита, происходило нижеследующее.

О! Какой же был у его многочисленной семьи дивный пудинг!.. Боб Крэтчит объявил, совершенно спокойно и серьезно, что этот пудинг он признает наилучшим произведением миссис Крэтчит со дня их свадьбы. Миссис Крэтчит заметила на это, что теперь, когда у нее отпало от сердца такое тяжелое бремя, должна она заявить о своей былой боязни: не очень ли переложила она муки? Каждый из семьи счел долгом выразить по этому поводу свое мнение; но никто не упомянул о том, что для такой семьи пудинга было очень мало. Откровенно говоря, нехорошо было бы об этом подумать и сказать; и всякий из Крэтчитов при этой мысли сторел бы со стыда.

Наконец пообедали, сняли скатерть, подмели, огонек расшевелили. Боб сделал грог – оказался отличным; поставили на стол яблоки и апельсины, поставили и полную пригоршню печеных каштанов. Тогда-то вся семья собралась у комелька, как выразался Крэтчит: *кругом*, то есть сказать-то он хотел *полукругом*; тогда и поставили перед ним, Бобом, весь семейный хрусталь: две рюмки и молочник без ручки. Ну что ж из этого? Все равно в них налилась та же кипучая жидкость, которая налилась бы и в золотые чаши. Боб предложил такой тост:

– С веселым праздником, храни нас Бог!

Вся семья откликнулась:

– Да хранит нас Бог!

– Дух! – сказал Скрудж. – Добрый дух! Неужели кто-нибудь из них умрет от нищеты?

– Не знаю! – отвечал дух. – Если кто и умрет, только уменьшит бесполезное народонаселение.

Скрудж покаянно наклонил голову.

– Слушай, ты! – сказал ему дух. – Смеешь ли ты рассуждать о смерти?.. Господи Боже мой! Какое-то насекомое сидит у себя на листке и рассуждает о жизни и смерти других насекомых!..

Скрудж покорно принял этот упрек и, весь дрожа, потупил взор в землю. Но скоро он поднял их, услышав:

– За здоровье мистера Скруджа! – кричал Боб.

– Предлагаю всем выпить за здоровье моего хозяина, мистера Скруджа!

– Хорош хозяин! – перебила миссис Крэтчит. – Попался бы он мне в лапы, показала бы я ему...

– Да, милые дети!.. – заметил Боб. – Праздник...

– Разве на то праздник, чтоб пить за здоровье такого окаянного, Роберт?! Ты сам знаешь...

– Милая моя! – таким же нежным голосом продолжал Боб. – Попомни: ведь сегодня сочельник.

– За твое здоровье я выпью, выпью и за сочельник, – возразила миссис Крэтчит, – но только не за него! А если и выпью, ему непоздоровится... А впрочем, Бог с ним – для праздника!

Дети выпили за здоровье мистера Скруджа, вслед за своей матерью, хотя и неохотно. Одно напоминание его имени кинуло тень на их светлый детский праздник. Но тень эта была минутная, и она пронеслась...

Оторвавшись от семейной сцены, Скрудж вместе с духом понесся по пустынным улицам города.

Мрачно и черно надвигалась ночь; падал снег; но и в кухнях, и в гостиных сверкали огоньки с необыкновенным эффектом. Вот здесь мерцающее пламя обозначало приготовление к семейной трапезе, с подогретыми тарелками и багровыми занавесками, защищающими от уличного холода и мрака. Вот там все ребятишки выбежали навстречу или замужним сестрицам, или братцам, или двоюродным братцам, или дядям, или теткам, чтобы наперебой поздравить их с праздником. Далее на шторах видны были силуэты девушек-красавиц, в капорах и в меховых ботинках: собрались они, говорливые пташки, куда-то на вечер... И горе холостяку (они уже наворожили), горе ему, если он

взглянет на их щечки, нарумяненные морозом. Судя по числу прохожих, можно было подумать, что в домах не осталось ни одного человека для приветия желанных гостей, а между тем не было ни одного дома, где бы гостей не ждали, где бы для них не пылал битком набитый угольями камин. Потому-то, Господи праведный, как же восторгался дух! Как раскрывал он свою широкую грудь! Как протягивал мощную руку! Как он парил над толпой, пригоршнями брызгая на нее своей светлой радостью, окропляя всех, кто подворачивался под руку! Даже и фонарщик, сей возжигатель и сеятель искр света по темным улицам, даже и он, совершенно уже одетый на вечер, даже и он захохотал при взгляде на духа, хотя и не подозревал, что встретился лицом к лицу с самим великим, с «праздником».

Вдруг дух, не говоря ни слова, перенес собеседника в такое пустынное болото, обсаженное такими громадными камнями, что, конечно, можно было его назвать кладбищем великанов. Вода просачивалась повсюду – так и била ключом из земли, – да мороз наложил на нее руку и удержал в должном повиновении. Кроме мха, дрока и кое-каких тощих былинок, ничего не было вокруг.

По краю неба, с заката, солнце провело своими лучами багровую дорожку над этой безотрадной местностью, и надо было видеть, как закатывалось оно, как жмурилось и дремало и как наконец совсем заснуло...

– Где мы? – спросил Скрудж.

– В самом сердце земли, где трудятся столько лет рудокопы... Да вот поглядите!..

Дух пронесся со Скруджем мимо хижины, где старый дед угольщик праздновал Рождество со своими внучатами... Взглянули они на радостные лица и полетели дальше...

Пронеслись они и над шумным морем, прямо к маяку; о маяк разбивались пенные волны, брызжа на крылья чаек. Дочери, быть может, самого ветра – опускались и поднимались чайки над плавучими лужайками морской травы и водорослей.

Но даже здесь двое маячных сторожей развели праздничный огонек, и он колыхался искрами на волнах.

Протянув друг другу намозоленные руки, сторожа пригубили грог и поздравили друг друга с праздником. Старший из двоих затянул

какую-то дикую песню, да так затянул, что его голос можно было принять за рев бури.

Дух все летел, все летел над темным разыгравшимся морем, пока не опустился вместе со Скруджем, далеко от берега и всякой земли, на какой-то корабль.

Останавливались они то около рулевого, то около вахтенных часовых и офицеров и всматривались в эти темные фантастические лица; но каждый, к кому бы они ни подходили, или напевал праздничную песню, или думал о празднике, или напоминал товарищу о каком-либо минувшем празднике, – и все это было связано с радостной надеждой – благополучно вернуться в объятия родной семьи. Все, и худые, и хорошие, и злые, и добрые, все обменялись приветствиями, все припомнили о родных и друзьях, зная, что милые им люди думают, в свою очередь, также и о них.

Несказанно было удивление Скруджа, когда он вслушивался в завывания ветра и вдумывался в этот ночной полет над неведомыми, таинственными, как смерть, безднами, – несказанно было удивление Скруджа при чьем-то, вдруг раздавшемся, веселом хохоте. Но удивление его преступило всякие границы, когда он узнал хохот своего племянника и сам очутился в светлой, теплой, сверкающей чистотой комнате. Дух стоял с ним рядом и глядел на племянника нежно и любовно.

– Ха! Ха! Ха! – заливался племянник Скруджа. – Ха! Ха! Ха!

Если бы вам, против всякой вероятности, случилось познакомиться с человеком, одаренным способностью смеяться от всей полноты души более и душевнее скруджевского племянника, я скажу вам одно: я настойчиво просил бы вас представить вашему знакомому и меня. Сделайте милость, представьте меня. Очень счастливая, правдивая и благородная идея была у судьбы – вознаградить человека за все его заразительные болезни и печали еще более заразительным и неотразимо веселым смехом.

Итак, племянник Скруджа хохотал во все горло, хохотали от всей души и жена его, и приятели.

– Честное слово! – крикнул племянник. – Он мне сказал, что Святки – пустяки, и, поверьте, он сам крепко убежден в этом!

– Тем стыднее для него, Фред! – заметила с негодованием нареченная племянница Скруджа.

Вообще ведь женщины ничего не делают вполнину и за всякое дело принимаются не шутя.

Племянница – она же и супруга племянника Скруджа – была мила, нет, в высшей степени мила, с очаровательной головкой, с простодушным, искренним выражением лица; и при этом – что за увлекательная улыбка, что за живые искрометные глазки!

– Большой чудак мой старик! – продолжал племянник. – Спору нет, мог бы он быть несколько пообходительнее, но его недостатки наказываются сами по себе, и мне против него сказать нечего.

– Кажется, он очень богат, Фред?

– Э! Да что толку в его богатстве, моя милая? Богатство ему ничего не приносит: он не может быть полезен не только другим, даже самому себе. У него нет даже удовольствия подумать... ха-ха-ха! – что вскоре ему придется нас же награждать.

– Я его терпеть не могу! – сказала племянница.

Сестры и прочие дамы согласились с ее мнением.

– О! Я снисходительнее вас! – возразил племянник. – Мне его просто жалко. Кому вредят его своенравные выходки? Ему же... Я это говорю не потому, что он отказался пообедать с нами, – в этом случае он только в выигрыше: избавился от плохого обеда.

– В самом деле?... А мне кажется, что он потерял очень хороший обед!.. – перебила его молоденькая жена.

Все гости разделили это убеждение, и – надо сказать правду – могли быть в этом случае неуместными судьями, ибо только что изволили покушать и в настоящее мгновение десерт не сходил еще со стола, и все общество столпилось у комелька, при свете лампы.

– Честное слово, мне очень приятно убедиться: я до сих пор плохо верил в умение юных хозяев. Не правда ли, Топпер?

Вероятно, Топпер взглянул на одну из сестер племянницы Скруджа, потому-то ответил: я холостяк и не что иное, как жалкий пария, и не вправе выражать свое суждение о подобном предмете; а сестра племянницы Скруджа – вот это полненькое создание в кружевной косынке, что вы видите, – так и зарделась вся.

– Продолжай же, Фред! – крикнула его жена, нетерпеливо забив в ладоши. – Начнет и остановится... как это несносно!

– Я хотел только прибавить, что старик сам себя лишил приятной компании; уж конечно, она веселее его мыслей и темной сырой

конторы. Впрочем, я еще не успокоился: я каждый год буду приходить к нему с приветствием: «Как ваше здоровье, дядюшка? С праздником имею честь поздравить!» Если я его так расшевелю, что он, по крайней мере, откажет своему бедному приказчику тысячу двести фунтов, – уж и это будет хорошо. Не знаю почему, только мне кажется, что я сильно изменил его вчера...

Пришлось теперь гостям посмеяться над чванливым притязанием хозяина – изменить мнение Скруджа. Но Фред был славный малый, нисколько не обиделся на шутки, а еще придал обществу веселья, пустив бутылку по кругу.

После чая занялись музыкой, потому что все собеседники, уверяю вас, были замечательными исполнителями разных ариеток и ригурнелей, а особенно тот самый мистер Топпер: он артистически переливал из тона в тон свой бас, не напрягая жилы на лбу и не краснея, как рак.

Хозяйка оказалась превосходной арфисткой. В числе прочих пьес она сыграла простую песенку, такую простую, что можно было бы насвистать ее по памяти в две минуты; но Скрудж вздрогнул: эту песенку напевала когда-то посещавшая его в школе маленькая девочка...

После музыки начали играть в фанты, и прежде всего в жмурки. В жмурках опять отличился Топпер плутовством и ловкостью в преследовании полненькой девицы в кружевной косынке: как ни роняла она то каминную решетку, то стул, как ни пряталась за занавески – поймал-таки ее в каком-то углу.

Хозяйка не принимала участия в жмурках, а уселась в стороне в кресло и положила ноги на табурет – за креслом стояли дух и Скрудж. Зато она приняла живое участие в фантах и тут-то, к вящему удовольствию Фреда, показала себя: всех заткнула за пояс, даже и сестер, хотя они были далеко не глупы – спросите вот хоть Топпера... Особенно отличалась она в «Как вы его любите» и в «Где, когда и почему?». Сам Фред так и рассыпался, и дух до такой степени не сводил с него благосклонного взгляда, что Скрудж начал его умолять, как ребенок, подождать до разъезда гостей; но дух сказал, что это невозможно.

– Вот еще новая игра! – умолял Скрудж. – Еще полчаса, дух, только полчаса...

Играли в «Да и нет». Фреду пришлось быть в ответе: он должен был задумать какое-либо слово, а играющие должны были отгадывать, предлагая ему вопросы и требуя от него в ответ только «да» или «нет». Осыпанный перекрестным огнем вопросов, Фред волей-неволей был вынужден сделать несколько признаний, а именно, что думал он о животном: что животное это – живое; животное неприятное, дикое; что иногда оно рычит, иногда хрюкает, а прежде говорило; что водится оно в Лондоне и даже ходит по улицам, но что за деньги его не показывают, на привязи не водят, в зверинце не держат и на бойне не убивают; что оно ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе мошенник Фред до того заливался хохотом, что вскакивал с дивана и топал ногами. Наконец и полненькая сестрица покатила со смеху и крикнула:

– Угадала, угадала, Фред! Я знаю, что это такое!

– Что же? – спросил Фред.

– Ваш дядюшка Скру-у-удж!

Именно так и было. Затем последовал взрыв похвал, хотя дело и не обошлось без легких замечаний.

– Ну, что же? – заметил Фред. – Он доставил нам столько удовольствия, что нам не грех бы и выпить за его здоровье, благо у нас в руках по стакану жженки! За здоровье дядюшки Скруджа!

– Идет! За здоровье дядюшки Скруджа! – подхватили гости.

– Веселого праздника и счастливого нового года старику, кто бы он там ни был! – крикнул Фред. – Не хотел моего устного поздравления, пусть же примет заочно: за здоровье дядюшки Скруджа!

Скрудж принял такое участие в общем веселье, что собрался было уже произнести благодарственную речь, но вдруг вся сцена исчезла, и дух и Скрудж снова отправились в путь.

Далек был их путь: много перевидели они местностей, много посетили обитателей и жилищ. Дух прикинул к изголовью больных, и они забывали свои недуги, на мгновение казалось страждущему изгнаннику, что он припадает снова к лону своей милой родины. Душу, обрекшую себя на отчаянную борьбу с судьбой, просветлял он чувством самоотвержения и упованием на лучшую участь; приближался к бедным – и они считали себя богатыми. В дома

призрения, в больницы и в тюрьмы, во все притоны нищеты, везде, куда тщеславный и горделивый человек не мог – своею ничтожной, преходящею властью – возбранить вход и заградить пути бесплотному духу, – везде дух внес за собою благословения, везде слышал от него Скрудж заповедь милосердия.

Длинна была эта ночь, если все случилось в нее одну; но Скрудж сомневался; ему казалось, что несколько сочельников слились воедино в течение того времени, пока он был с духом. Еще одна странность: Скрудж не замечал в себе ни малейшей наружной перемены, а дух видимо становился старше и старше. От Скруджа не ускользнула эта перемена, но он не сказал ни слова до тех пор, пока, выходя из одного дома, где толпа детей славил Богоявление, не увидел, что волосы на голове духа побелели.

– Разве жизнь духов так коротка? – спросил он, когда они остались одни.

– Действительно, – отвечал дух, – жизнь моя на земном шаре очень коротка; она закончится в нынешнюю ночь.

– Нынешнюю ночь?! – вскрикнул Скрудж.

– Ровно в полночь. Чу? Час уже близок!

В это время часы пробили где-то три четверти одиннадцатого.

– Извините мой нескромный вопрос, – сказал Скрудж, пристально вглядываясь в одежды духа. – Я вижу под полой вашего платья что-то странное, не принадлежащее вам... Что это: нога или коготь?

– Это могло бы назваться и когтем, потому что сверху есть немножко мяса, – отвечал печально дух. – Смотрите!

Он распахнул полы одежды, и оттуда вывалились двое детей – два бедных существа, – презренные, гадкие, гнусные, омерзительные, отталкивающие. Они упали на колени к ногам Скруджа и вцепились ему в платье.

– О, человек! Склони, склони взгляд к своим стопам! – крикнул дух.

Это были мальчик и девочка – желтые, худые, в лохмотьях, с нахмуренными лицами, свирепые, хотя и пресмыкающиеся – в своем подлом унижении. Вместо привлекательного младенчества, обещавшего покрыть их щеки свежим румянцем, чья-то блеклая высохшая рука, словно рука времени, сморщила эти ввалившиеся

щеки и стерла с них краски жизни. В этих глазах, откуда, казалось, должны были улыбаться на Божий мир ангелы, теперь гнездились демоны и метали угрожающие взгляды. Никакие перемены, никакой упадок, никакое извращение человеческого рода, в самой высшей степени и при всех таинственных уклонениях природы, никогда не могли произвести подобных чудовищ, отвратительных и ужасных.

Скрудж отшатнулся, бледный от страха. Впрочем, не желая оскорбить духа, может быть, родителя этих чад, он хотел было сказать: «Какие миленькие дети!», – но слова сами собой остановились в горле, чтобы не участвовать в такой невероятной лжи.

– Дух, это ваши дети?

Вот все, что мог сказать Скрудж.

– Дети людей, – ответил дух. – Они обратились ко мне с челобитной на своих отцов. Вот этого зовут «невежество», а эту – «нищета». Бойтесь обоих и их потомства. Но первого бойтесь больше – я на его челе читаю: *проклятие*. Спешите, о Вавилон! – возгласил дух, протягивая руку к городу, – спешите изгладить это слово – оно осуждает тебя еще более, чем этого несчастного: его только на несчастье, тебя на гибель! Дерзни сказать, что ты не виноват, клевети даже на своих обвинителей: тебе это может послужить на время, для достижения твоих преступных целей; но... берегись конца!

– И у них нет никакого пристанища?! Никаких средств?! – вскрикнул Скрудж.

– Как!.. Разве нет тюрем? – спросил дух, в последний раз насмешливо повторяя слова Скруджа. – Разве нет смиренных домов?

Часы начали бить полночь. Скрудж посмотрел на духа, но духа уже не было. При последнем замирающем ударе Скрудж вспомнил предсказание старого Джейкоба Мэрли и поднял глаза: величественный призрак, закутанный в широкую одежду с покрывалом, подлетал к нему, скользя по земле, как пар.

Четвертая строфа

Третий

Призрак приближался медленно, важный и молчаливый. Когда он был уже совсем рядом, Скрудж преклонил пред ним колени, потому

что призрак разливал вокруг себя в воздухе какой-то мрачный и таинственный ужас. Длинная черная одежда полностью закрывала его с головы до ног и оставляла снаружи только одну вытянутую руку: иначе его было бы очень трудно отличить и отделить от густых теней ночи.

Скрудж заметил, что призрак высокого роста, обладает величавой осанкой и что таинственное его присутствие наводит на человека торжественный страх и трепет.

Но более он ничего уже не мог узнать, потому что призрак не говорил ни одного слова, не делал ни одного движения.

– Вероятно, я имею честь находиться в присутствии будущего праздника? – спросил Скрудж.

Призрак не отвечал, но не опускал вытянутой вперед руки.

– Вы мне покажете то, что должно случиться, но не случилось еще... не правда ли? – продолжал Скрудж.

Верхние складки черной одежды на мгновение сблизились между собой, как будто призрак наклонил голову, но это движение было его единственным ответом.

Уже почти привыкший к общению с духами, Скрудж все-таки чувствовал такой ужас в присутствии этого молчаливого призрака, что у него дрожали ноги и он едва устоял на них, когда приготовился следовать за своим провожатым. Призрак остановился на мгновение, как будто хотел дать Скруджу время собраться с силами. Но волнение Скруджа только усилилось, особенно когда он подумал, что сквозь этот черный саван на него устремлен неподвижный взор призрака.

– Дух грядущего! – вскрикнул он. – Я вас боюсь больше, чем всех прежних призраков; но так как я знаю, что вы желаете мне добра, поскольку намерение мое – переменить образ жизни, я с благодарностью готов за вами следовать... Не заговорите ли вы со мной?

Нет ответа. Только вытянутая рука указывает вперед.

– Ведите меня! – сказал Скрудж. – Ночь быстро продвигается, а я знаю, что для меня это время драгоценно. Ведите меня, дух!

Призрак удалился так же, как и приблизился. Скрудж следил за ним, и ему казалось, что тень его одежды поднимает и уносит его с собой.

Нельзя сказать, что они вошли в город: скорее город выплыл кругом них и охватил своим движением. Во всяком случае, они очутились в самом сердце Сити, на бирже, среди торговцев: быстро шныряли они во все стороны, звенели деньгами в карманах, собирались в кучки – потолковать о делах, смотрели на часы, задумчиво побрякивали огромными брелоками... и т. д. – словом, все были те же, какими так часто видел их Скрудж.

Призрак остановился подле небольшой группы этих капиталистов, и Скрудж, заметив направление его руки, также подошел, чтобы послушать разговор.

– Нет, – говорил высокий толстый джентльмен с чудовищным подбородком, – больше я ничего не знаю – знаю только, что умер.

– Когда?

– Прошлой ночью, кажется.

– Как он распорядился своим состоянием? – спросил джентльмен с наростом на носу, похожим на зуб индейского петуха.

– Право, не знаю... Может быть, завещал своему Обществу... во всяком случае, *не мне* – вот это я знаю совершенно точно.

Общий смех приветствовал эту шутку.

– Я думаю, – заговорил джентльмен с наростом, – похороны обойдутся ему недорого: его никто не знал, и охотников провожать его тело найдется немного. Впрочем, я, пожалуй, пойду: по мне, была бы только закуска!

– Ну, так я всех вас бескорыстнее, господа! – заговорил джентльмен с двойным подбородком. – Черных перчаток я не ношу, на похоронах не закусываю, но все-таки пойду, хоть без приглашения. Почему-то мне кажется, что покойник считал меня своим истинным другом – как ни встретится, всегда поговорит... Прощайте, господа!

Группа рассмеялась и смешалась с другими. Скрудж узнал всех этих господ и взглянул на призрак, будто хотел попросить у него объяснения.

Призрак скользнул в боковую улицу и указал пальцем на двух только что встретившихся джентльменов. Скрудж опять стал вслушиваться в надежде хоть тут узнать слово загадки.

Джентльменов он очень хорошо знал: это были два богатых почтенных негоцианта, и Скрудж очень ценил их уважение к себе, разумеется, уважение в делах, просто и положительно только в делах.

- Как вы поживаете? – говорил один.
- А вы как? – спрашивал другой.
- Да хорошо. А старый-то Гобсек того... совсем рассчитался...

Гм?

– Говорили мне... А ведь, не правда ли, холодно?

– Пора! Пора такая – Святки... Вы, я полагаю, не катаетесь на коньках?

– Ни-ни, мне есть о чем подумать на досуге... Прощайте!

И ни слова больше. Таковы были их встречи, разговор и прощание.

Скрудж сначала удивился, почему призрак придает такую важность пустым разговорам; но, внутренне убедившись, что должен же таиться в них какой-нибудь смысл, он стал раздумывать про себя – какой же именно? Трудно предположить, что во всем этом скрывался намек на смерть Джейкоба: дело было так давно, а призрак – провозвестник будущего. На знакомых не на кого подумать... Тем не менее, не сомневаясь, что здесь готовится ему, для его же блага, таинственный урок, Скрудж решил не обронить ни одного слова, не пропустить без внимания ни одного малейшего обстоятельства, а главное – не спускать глаз со своего второго я при его появлении: Скрудж был уверен, что поведение его будущего самого себя послужит ключом к разгадке.

Стал он отыскивать самого себя на бирже, но обычное его место в любимом уголке было занято кем-то другим, и хотя биржевые часы показывали именно то время, когда он здесь появлялся, однако же в многочисленной толпе, теснившейся на крыльце здания, не было никого, мало-мальски похожего на его особу. Это, впрочем, несколько его не удивило: он подумал, что при будущей перемене в его жизни, конечно, переменится и род занятий.

Призрак стоял напротив него неподвижный, мрачный, с вытянутой рукой. Когда Скрудж очнулся, по движению руки и по прямому положению призрака ему показалось, что незримые глаза пристально устремлены *на него!* При этой мысли он задрожал с головы до ног...

Покинув шумное позорище торговых дел и сделок, они перенеслись в глухой закоулок города, где Скрудж никогда не бывал, но хорошо знал, по слухам, недобрую славу про этот закоулок.

Грязные узкие улицы; лавчонки и домишки; обыватели – полунагие, пьяные, на босу ногу – отвратительные... Темные крытые ходы, словно сточные трубы, извергали и жильцов, и их удушливый запах в лабиринт улиц; весь квартал дышал преступлением, грязью, нищетой.

На самом дне этого логова виднелась, под выступным навесом, железная лавочка: железо, тряпки, битое стекло, кости, черепки посуды, ржавые ключи, беззубые пилы, засовы, чашки весов, гири – в ней было довольно всего.

Может быть, в этом ворохе замасленного тряпья и костей крылись такие тайны, что лучше бы их и не знать. Перед всей этой дрянью сидел господин лет семидесяти, седой и обрюзгший. Он скрывался за дырявой занавеской, повисшей на окне, и покуривал коротенькую трубочку, наслаждаясь полным одиночеством.

Скрудж и призрак предстали перед ним как раз в то мгновение, когда в лавочку шатнулась какая-то женщина с тяжелым узлом на спине. Следом за ней вошла другая женщина, с таким же узлом, и какой-то мужчина, в черном поношенном платье. Все они видимо изумились, увидев друг друга. После нескольких мгновений недоумения, разделенного и хозяином, все они расхохотались.

– Ступайте, ступайте в зал! – проговорил хозяин.

– Ну вот, – сказала первая женщина, – что бы ему не поступить, как всем добрым людям? Взял бы сестру милосердия – было бы, по крайности, кому глаза закрыть... А так... окошел в своей конуре, что собака... Да что тут?.. Развязывай-ка мой узел, Джой!

Но старый Джой сначала развязал узелок мужчины могильщика; он не был объемистым: печатка-другая, карандашник, две запонки, грошова булавка – вот и все... Старик Джой осмотрел каждый предмет порознь и отметил мелом на стене подходящую каждому предмету сумму.

– Вот что я могу вам дать, – сказал он, – и – жарьте меня на маленьком огоньке – шести пенсов не прибавлю... Кто там?

На очереди были две «дамы».

– Перед дамами я всегда пас! – проговорил Джой, принимая от второй посетительницы скатерть, салфетки, пару платья, две старинные чайные ложечки, сахарные щипцы и сколько-то сапог. – Перед дамами я всегда пас – и это моя слабость!.. Вот ваш счет...

Если вы запросите прибавки, я вынужден буду скинуть с первой моей оценки.

– Ну, теперь, Джой, развяжи мой узел! – сказала первая посетительница.

Джой стал на колени, развязал множество узлов и вытащил кусок какой-то темной ткани.

– Что это? – спросил он. – Постельные занавески?

– Конечно! – отвечала со смехом женщина.

– Не может же быть, чтобы вы их сняли *при нем*?

– Почему же?

– Ну!.. Вы рождены богачкой и будете...

– Что же? У меня рука не дрогнет... – совершенно хладнокровно произнесла женщина. – Неужели стоит эдакого жалеть?

– Так это *его* занавески и простыни?

– А то чьи же? Не боишься ли ты, что он насморк схватит?

– Я надеюсь, что он не умер от какой-нибудь заразной болезни... м-м? – спросил старый Джой, поднимая голову.

– Не бойтесь, Джой! Неужели я так глупа, чтобы с ним связалась, если бы?.. О! Вы можете вывернуть наизнанку и налицо эту рубашку: могу вам ответить, что хороша – лучшая его рубашка... Слава богу, что я подвернулась: без меня бы пропало...

– Что же такое пропало? – спросил старик Джой.

– Да вот что: похоронили бы его, наверное, в этой рубашке, – ответила она, смеясь. – По-моему, совершенно напрасно: господину покойнику все равно, в чем лежать: в коленкоре или в полотне...

Скрудж едва дослушал этот разговор. Вообще все лица казались ему демонами, наперебой препарировавшими чей-то труп.

Он отшатнулся в ужасе, когда сцена переменилась. Теперь он едва не прикасался к кровати без занавесок: на кровати под дырявой простыней лежало *что-то*, понятное только на страшном языке смерти.

Комната была очень темна, слишком темна, чтобы разглядеть в ней что-нибудь, хотя Скрудж и впивался в этот полумрак пытливым взглядом. Бледный свет извне падал прямо на кровать, где лежал труп этого обнаженного, ограбленного, всеми покинутого, никем не оплакиваемого и никем не сторожимого покойника.

Скрудж поглядел на духа; тот указывал ему пальцем на голову мертвеца. Саван был накинут так небрежно, что стоило только притронуться пальцем – и все лицо покойника было бы на виду. Скрудж это понял; было у него даже и поползновение поднять саван, да... силы не хватило.

О, холодное – холодное, страшное пугало – смерть! Воздвигай здесь твои жертвенники, окружай их всеми твоими ужасами: ты здесь полная владычица!.. Но, если ты падешь на любимую, чтимую и кому-то дорогую голову, не властна ты ни в едином волоске с этой головы. Не то чтобы эта рука не падала безжизненно тяжело, не то чтобы не смолк этот пульс, нет! – но эта рука бывала раскрыта честно, тепло и великодушно для всякого; но это сердце благородно, горячо и нежно билось в груди...

Рази, рази, беспощадная смерть! Твои удары тщетны: за мимолетной жизнью – бессмертие!.. Никто не произнес этих слов, но Скрудж их слышал, когда смотрел на кровать.

«Если бы этот человек ожил... – подумал Скрудж, – что бы он сказал про свое былое? Скупость, черствость сердца, жажда приобретения – вот они к чему приводят! И вот он, вот он – лежит в пустом мрачном доме: нет ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, что могли бы сказать: он мне помог тогда-то и тогда-то, и я ему отплачу в свою очередь, хотя бы за радушное слово».

Никого не было. Только в дверь скреблась кошка да под напольной каменной плитой камина что-то грызли крысы. И что им было нужно в этой похоронной комнате? Из-за чего так бесновались они? Скрудж не осмелился даже и подумать об этом...

– Дух! – сказал он. – Эта комната ужасна. Покинув ее, я не забуду данного мне урока... Поверьте... и – поскорее прочь!

Призрак все-таки указывал своим неподвижным пальцем на голову трупа.

– Я вас понимаю, – сказал Скрудж, – и сделал бы то, что вы хотите, если бы мог... Но у меня силы нет... силы нет у меня, дух!.. Покажите мне что-нибудь такое, где смерть напутствуется нежными слезами!

Призрак промчал его по знакомым улицам, и они вошли в дом бедного Боба Крэтчита. Горе стукнуло ему в двери: умер его милый больной хроменький сын, которого он всегда носил на плече, умер его

милый Тини-Тим. Мать и остальные дети сидели у комелька... Они были спокойны, очень спокойны. Маленькие шумливые Крэтчиты окаменели в уголке и не спускали глаз со своего старшего брата Петра и с развернутой перед ним книги. Мать и девочки что-то шили.

Вся семья была совершенно спокойна.

– «И поставил он среди них отрока».

Где слышал Скрудж эти слова?.. Он не помнил, однако слышал он их не во сне. Вероятно, их вслух прочел Петр, когда Скрудж и дух переступали порог... Но отчего же тот перестал читать?

Мать положила работу на столик и закрыла лицо руками.

– Кажется, отец? – сказала она немного погодя и побежала навстречу своему бедному Бобу.

Боб вошел в своем неразлучном «носопрятке» – и хорошо, что на этот раз с ним не разлучался. Подогретый в комельке чай поднесла ему чуть не все члены семьи, наперебой. Оба маленьких Крэтчита вскарабкались ему на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, словно говоря: «Не думай об этом, папенька!.. Не огорчайся!»

Боб был очень весел, похвалил работу жены и спросил, поспеет ли она раньше воскресенья.

– Воскресенья! Стало быть, ты навещался сегодня *туда*, Роберт? – спросила жена.

– Да. Мне очень жаль, что тебя не было... место отличное – все зелено кругом... Впрочем, ты еще увидишь... я ему обещал, что буду ходить к нему гулять по воскресеньям... Бедный мой, милый мой малыш! – воскликнул Боб.

И залился слезами...

Торопливо вышел он из комнаты и поднялся в верхнее жилье, освещенное и убранное цветами по-праздничному. Напротив кровати мертвого ребенка стояло кресло, и казалось, что только что с него кто-то встал. Боб присел, в свою очередь, посидел и встал, поцеловал холодное милое личико и спустился вниз...

Быстро-быстро умчал Скруджа из этой комнаты призрак и нигде не останавливался, пока сам Скрудж не сказал:

– Постойте!.. Вот двор и дом, давно мне знакомые... позвольте мне посмотреть – чем я должен быть?

Призрак остановился, но рука его была вытянута по другому направлению.

– Да ведь вот где дом, – заметил Скрудж, – зачем же вы меня маните дальше?

Неумолимый палец призрака не изменял своего положения. Скрудж поспешно побежал к окну своей конторы и заглянул внутрь: контора осталась конторой – только не его. И мебелировка была другая, и в креслах сидел не он. Призрак все указывал рукой куда-то...

Скрудж совсем потерял голову и перенесся со своим провожатым к какой-то железной решетке.

Еще не переступая за нее, он оглянулся кругом... Кладбище! Тут-то, вероятно, и лежит, под несколькими футами земли, тот несчастный, чье загадочное имя Скрудж сейчас же узнает. Ей-богу, хорошенькое было место: кругом стены соседних домов, по земле дерн и сорные травы, могил столько, так *утучнили* они землю, что тошно становится... Славное местечко!

Дух показал на одну могилу – Скрудж подошел к ней и прочел: «Эбenezер Скрудж».

– Так это я себя видел на кровати, умершим? – крикнул Скрудж, упав на колени.

Дух указал пальцем на него и на могилу, потом – на могилу и на него.

– Нет, дух, нет-нет-нет!

Палец духа будто застыл в одном положении.

– Дух! – вскрикнул Скрудж, вцепившись в платье призрака. – Выслушайте меня. Я уже не тот человек, не буду тем человеком, каким был до встречи с вами... Зачем же вы мне показываете все это, если для меня уже нет надежды?

В первый раз шевельнулась рука призрака.

– Добрый дух! – продолжал Скрудж, лежавший ничком. – Походатайствуйте за меня, смилуйтесь надо мной. Достанет ли у меня сил изменить все увиденные эти образы, если изменю свою жизнь?

Призрак благосклонно махнул рукой.

– От всего сердца буду чтить я Святки и буду ждать их круглый год. Буду жить в прошлом, в настоящем и в будущем: вы, трое духов, дали мне незабвенные уроки... О! Убедите меня, что я могу стереть эту надпись с могильного камня!

Скрудж отчаянно ухватился за руку призрака: рука выскользнула, но Скрудж сдавил ее, как клещами. Однако призрак все же был

сильнее Скруджа и оттолкнул его.

Подняв обе руки в последней мольбе об изменении своей участи, Скрудж заметил, что одежды духа становятся тоньше и тоньше, и сам дух постепенно преобразуется, и преобразился в столбик, поддерживающий занавес постели.

Пятая строфа

Действительно, это столбик, поддерживающий занавес постели. Да-да. И столбик над собственной постелью Скруджа, и даже в собственной спальне Скруджа. Перед ним был целый день – опомниться и изменить образ жизни.

– Буду жить в прошлом и в настоящем... – повторил Скрудж, соскакивая с постели. – Врезались мне в память три урока. О, Джейкоб Мэрли! Да святится праздник Рождества Христова.

– Не сняты они, не сняты! – продолжал Скрудж, обнимая с рыданием постельные занавески. – И кольца целы... И все, что я видел, – греза!..

Он все мял и мял платье, сам не понимая, что делает.

– Боже мой! – говорил он, схватив в обе руки чулки и становясь с ними в позу Лаокоона, оплетенного змеями. – Господи! Я легче пуха, счастливее бесплотного духа, веселее школьника, пьянее вина!.. С праздником! Всех имею честь поздравить с праздником!.. Эй! Кто там! Ау!.. Ого-го-го!..

Одним прыжком он перескочил из спальни в гостиную и остановился, запыхавшись.

– Вот и кастрюлька с кашицей! – кричал он. – Вот и дверь, сквозь нее же проник призрак Мэрли! Вот и уголок, где сидел нынешний сочельник! Вот и окошко, откуда я следил за грешными душами: все на месте, все в порядке... Ха-ха-ха-ха!

И это было так необыкновенно... Для человека, не смеявшегося столько лет, этот смех был торжественно великолепен, был родоначальником нескончаемых покатов со смеху.

– Не знаю я, какое у нас сегодня число? – продолжал Скрудж. – Не знаю, сколько времени провел я среди духов. Ничего не знаю: я просто ребенок... И как бы мне хотелось быть маленьким ребенком... Эй, гэй, гой, гэй!..

Его восторг был умерен церковными колоколами, перезванивавшими во все тяжкие: «Дини-дини дон-бум, бум! Динь-динь-дон, бум, бум, бум! Дон, динь-дон, бум!»

– Отлично! Отлично! – покрикивал Скрудж; подбежал к окошку и глянул на улицу.

Не было ни изморози, ни тумана: был ясный свежий денек, один из тех, что веселят, и укрепляют, и гонят кровь по жилам. Золотое солнце; голубое небо; колокольный трезвон... Отлично! Отлично!..

– Какой сегодня день? – крикнул Скрудж из окошка какому-то, вероятно, на него же заглядевшемуся мальчишке.

– Что? – спросил изумленный мальчик.

– Какой сегодня день, голубчик? – повторил Скрудж.

– Сегодня? – еще раз спросил мальчик. – Да сегодня Рождество.

«Рождество! – подумал Скрудж. – Стало быть, я его не потерял. Духи устроили все в одну ночь. Они все могут сделать – кто же в этом сомневается? – все могут...»

– Эй-эй, любезный?

– Ну, что? – ответил мальчик.

– Знаешь ты мясную лавку на углу улицы?

– Конечно.

«Умный ребенок! – заметил про себя Скрудж. – Ребенок замечательный...»

– Не знаешь ли ты, продана или нет индейка – не маленькая, а та, что чуток побольше?

– А! Это такая, что с меня будет?

– Восхитительный ребенок! – прошептал Скрудж. «С ним и разговаривать любо...» – Ну, эта самая, котеночек ты мой!

– Не продана еще.

– В самом деле?.. Ну тогда пойдя же – купи.

– Шутник! – ответил мальчик.

– Нет, – сказал Скрудж. – Я говорю не шутя. Купи и скажи, чтобы принесли ко мне. Я дам адрес, куда ее отнести. Захвати с собой какого-нибудь мальчика из лавки, и вот тебе шиллинг. – «Если ты через пять минут вернешься с покупкой, я тебе дам еще».

Мальчишка полетел стрелой.

– Я пошлю эту индейку к Бобу Крэтчиту, – шептал Скрудж, потирая руки и смеясь. – Он и не узнает, от кого! Она вдвое толще

Тини-Тима... Я уверен, что Боб поймет эту шутку...

Он написал адрес несколько дрожавшей рукой и спустился вниз, навстречу приказчику из мясной лавки. Ему бросился в глаза дверной молоток.

– Всю свою жизнь буду я любить тебя! – сказал Скрудж, погладив молоток. – И до сих пор я не замечал его!.. А какое честное выражение во всей его физиономии... Ох ты мой добрый, мой изящный молоток! А вот и индейка!.. Эдакая-то вы! Эге-ге-ге-ге! «С праздником имеем честь поздравить»!..

И какая это была индейка!

– Да ведь вот что: вам не снести ее в Кэмден-Тоун, – сказал Скрудж, – надо взять кэб.

Все это было произнесено со смехом; со смехом же, с веселым смехом, расплатился Скрудж и за индейку, и за кэб, со смехом дал деньги мальчику и, задыхаясь и смеясь до слез, упал в кресло.

Потом он побрился, оделся в лучшее свое платье и вышел прогуляться по улицам.

На улицах была густая толпа; Скрудж смотрел на всех самодовольно, заложив руки за спину, так самодовольно, что трое-четверо прохожих зевак не удержались и приветствовали его словами:

– Здравствуйте, господин! С праздником имеем честь поздравить!

Не успел он пройти несколько шагов, как навстречу ему попался тот изящный джентльмен, что накануне приходил к нему в контору с вопросом: «Скрудж и Мэрли, кажется»? Скрудж смутился было, но тотчас же оправился и сказал, взяв почтенного джентльмена за обе руки:

– Как вы поживаете, сэр? Надеюсь, что вчера, к чести вашей, выдался денек? С праздником позвольте вас поздравить, сэр!

– Мистер Скрудж?

– Да. Боюсь, что это прозвище не совсем для вас приятно? Позвольте мне извиниться: не будете ли вы так добры, чтобы... – Скрудж сказал почтенному джентльмену несколько слов на ухо.

– Господи! Неужели? – спросил, задыхаясь джентльмен. – Любезный мой мистер Скрудж, вы говорите всерьез?

– Без всяких шуток! – ответил Скрудж. – Я должен выплатить старый долг, сможете ли вы его принять?..

– Милостивый государь! – перебил Скруджа собеседник, дружески тряся его за руку. – Я не знаю, как и назвать такое великое...

– Ради бога, ни слова более! – остановил его Скрудж. – Заходите ко мне... ведь вы зайдете, не правда ли?

– О! Без всякого сомнения! – убедительно вскрикнул старый господин.

– Благодарю, – сказал Скрудж. – Я вам бесконечно обязан и тысячу раз приношу свою благодарность. Прощайте!

Зашел он в церковь, пробежал по улицам, раздал мальчикам несколько легких щелчков по головам, изумился приятности своей прогулки, а пополудни направил стопы к дому племянника.

Раз двенадцать прошел он мимо знакомой двери и не решался войти. Наконец осмелился и постучался.

– Дома хозяин, голубушка? – спросил Скрудж у служанки. – Какая же ты хорошенькая, ей-богу!..

– Дома, сэр!

– Где же, милашка?

– В столовой, сэр, с миссис... Если позволите, я вас провожу.

– Спасибо, он меня знает, – ответил Скрудж, налегая на ручку замка. – Я и сам войду.

Приотворил дверь и просунул в нее голову. Юная чета осматривала накрытый по-праздничному стол...

– Фред! – произнес Скрудж.

– Господи мой Боже!

Как вздрогнула нареченная его племянница! Скрудж и позабыл, как она сидела в кресле, положив ноги на табурет: иначе он не осмелился бы войти так решительно.

– Господи! – вскрикнул Фред. – Да кто же это там?

– Я, я, твой дядя Скрудж... Обедать пришел... Ты позволишь войти?

Вот был вопрос! Фред чуть ему руки не вывихнул, втаскивая его в столовую. Через пять минут Скрудж был как дома. Ничего не могло быть радушнее приема его племянника и племянницы. Точно так же поступили, когда прибыли и Топпер, и полненькая сестрица, и все прочие гости. Какое удивительное общество, какая удивительная игра в фанты, какое *у-ди-ви-тель-ное* веселье!

На другой день Скрудж рано пришел в свою контору – о! очень и очень рано... Ему только и хотелось – прийти раньше Боба Крэтчита и застать его на месте преступления.

Так ему и удалось! Часы прозвонили девять – Боба нет; девять с четвертью – все нет Боба. Боб опоздал на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел в раскрытой двери, чтобы лучше видеть, как Боб опустится в свой колодец.

Еще не отворив двери, Боб снял шляпу и «носопрят». А потом, в мгновение ока, очутился на своем табурете и так пустил перо по бумаге, как будто хотел догнать улетевшие девять часов.

– Эй, господин! – крикнул Скрудж, попадая по возможности верно в свой прежний тон. – Что так поздно?

– Мне очень неприятно, сэр! – сказал Боб. – Я немножко опоздал.

– Опоздали! – продолжал Скрудж. – Мне действительно кажется, что вы опоздали. Пожалуйста-ка сюда...

– Раз в году, сэр! – заметил робко Боб, вылезая из колодца. – Больше не случится... Загулял я вчера немножко, сэр!..

– Это все хорошо, – сказал Скрудж, – но я должен вам, любезный друг, заметить, что не могу терпеть таких беспорядков. А следовательно, – прибавил он, вскочив с табурета и толкнув Боба под бок так, что он отлетел к своему месту, – следовательно – я желаю прибавить вам жалованья.

Боб задрожал и протянул руку к линейке. Было мгновение, когда он хотел ударить линейкой Скруджа, схватить его за шиворот и позвать людей, чтобы на Скруджа надели смирительную рубашку.

– С веселым праздником, Боб! – проговорил важно Скрудж и дружески потрепал приказчика по плечу. – С более веселым, чем когда-либо. Я прибавлю вам жалованья и постараюсь помочь вашей трудолюбивой семье. Сегодня мы поговорим о наших делах за рождественским стаканом бишофа, Боб!

Скрудж не только сдержал слово, но сделал гораздо, гораздо более, чем обещал. Для Тини-Тима (он, разумеется, и не думал умирать) Скрудж сделался почти вторым отцом.

И стал Скрудж таким хорошим другом, таким хорошим хозяином и таким хорошим человеком, как всякий гражданин всякого доброго старого города, в добром Старом Свете. Нашлись господа, что

подсмеивались над подобной переменной. Да только Скрудж позволял им подсмеиваться и даже ухом не вел.

В отместку этим господам он и сам смеялся – от полноты души.

С духами прекратил он всякие отношения – но зато завел с людьми – и дружески готовился каждый год встретиться с ними Святки, и все отдавали ему справедливость, что никто так весело не встречал праздников.

Если бы то же говорили о вас, обо мне, о всех нас... А затем, как выражался Тини-Тим: «Да спасет всех нас Господь – всех, сколько нас ни есть!»

О. Генри

Дары волхвов

Один доллар восемьдесят семь центов. Это все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного стыда, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод: жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, рассмотрим же сам дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не пролезло бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К нему приложена карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, ведь тогда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» – и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже известной вам под именем Деллы. И это, клянемся, было всегда очень мило.

Делла закончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Теперь она стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она сэкономила буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла! На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы

оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть самую малость достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой мебелированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек, конечно, может, наблюдая последовательную смену собственных отражений в его узких створках, составить довольно точное представление о собственной внешности. Делле, даме весьма хрупкого сложения, в полной мере удалось овладеть этим искусством.

Вдруг она отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но за двадцать секунд с лица сбежали краски. Одним быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг были два сокровища, всегда составлявших предмет их гордости. Первым были золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другим – волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, вымыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы – специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, каждый раз доставал бы часы из кармана – специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но сейчас она, нервничая и торопясь, сразу же принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову – и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос». Делла взлетела на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

– Не купите ли вы мои волосы? – спросила она у мадам.

– Я покупаю волосы, – ответила мадам. – Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

– Двадцать долларов, – сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

– Давайте скорее, – сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях – прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Прекрасная платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая своими истинными качествами, а не показным блеском, – такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство – эти качества отличали их обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, но смотрел он на них часто украдкой, ведь они висели на постыдном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы улеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими кудряшками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало. Взгляд ее был долгим, внимательным и критическим.

«Ну, – сказала она себе, – если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, то решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленд. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов?!»

В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не опаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

– Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.

Дверь открылась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужны были и новое пальто, и перчатки – руки без перчаток ужасно мерзли.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас – ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

– Джим, милый, – закричала она, – не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они же еще отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

– Ты остригла волосы? – спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

– Да, остригла и продала, – сказала Делла. – Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

– Так, значит, твоих кос уже нет? – спросил он с бессмысленной настойчивостью.

– Не ищи, ты их не найдешь, – сказала Делла. – Я же тебе говорю: я их продала – остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, ведь я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, – продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, – но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд отведем взгляд, чтобы рассмотреть какой-нибудь посторонний предмет. Что больше – восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

– Не пойми меня неправильно, Делл, – сказал он. – Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же – увы! – чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни. Тот самый набор гребней – один задний и два боковых, – которыми Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вставленными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого... Делла знала это – и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вождеденный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

– У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

– Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

– Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, пока нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

– Делл, – сказал он, – придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Сейчас они для нас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, удивительно мудрыми людьми. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я рассказал вам ничем не примечательную историю о двух глупых детях из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Ибо из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Щелкунчик и мышиный король

Сочельник

Целый день двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с ней комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в темном уголке детской и, по правде говоря, немного боялись окружавшей их темноты: в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагается в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра он слышал в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, совершенно точно знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

– Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома, советник Дроссельмейер, был очень нехорош собой: маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него наклеен большой черный пластырь; волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, сделанный удивительно хорошо. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копать в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но она знала, что вреда крестный часам не причинит, а наоборот, – и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то

куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, – словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству он готовил всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.

– Ах, как бы узнать, что на этот раз смастерит нам крестный? – повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крестный наверняка подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

– Нет, нет, – сказала Маша, – крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, а потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

– Лебеди конфет не едят, – перебил Фриц, – да и как может крестный сделать целый сад? К тому же, какой нам толк от его игрушек, если у нас их сразу же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трудхен, с некоторого времени стала совсем неуклюжей: она беспрестанно валится на пол, так что теперь все ее лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего и говорить. Как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда девочке понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц пожаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали они и то, что сам младенец Христос весело смотрит в эту минуту с облаков на их елку и что нет праздника, который приносил бы детям столько радости, сколько приносит Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила малышам, которые все еще шушукались об ожидаемых

подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, нужно терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари задумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

К этому времени совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить хоть слово – им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос полетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где сидели Мари и Фриц. Ахнув от восторга, они остановились на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:

– Ну, детки, пойдете посмотреть, чем одарил вас младенец Христос!

Подарки

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель – Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, – и прошу вспомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, – и тогда ты поймешь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку! Мари только воскликнула:

– Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, ведь еще ни разу им не дарили так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, засахаренный миндаль и великое множество других лакомств унизывали ветви стоявшей посередине елки. Но лучше и красивее всего горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось,

приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой – трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего ее обрадовало шелковое платье с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

– Ах, мое милое платье! – в восторге воскликнула Маша. – Ведь оно и в самом деле мое? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной за поводья к столу. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь – лютый зверь, ну ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадром новых гусар в ярко-красных с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабелями и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели начать рассматривать книжки с картинками, которые лежали тут же и на обложках которых были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что казалось, они живые и в самом деле играют и бегают. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это значит: пришел черед подаркам крестного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись – и что же увидели дети? На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка открылись, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами прохаживаются по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечей в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзолчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на самого крестного Дроссельмейера, в плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова

прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотившись на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

– Крестный, крестный! Позволь мне войти в этот замок!

Крестный объяснил ему, что этого сделать нельзя, и он был прав – глупенький Фриц не подумал, как же можно ему войти в замок, который, со всеми золотыми башенками, все же гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев еще некоторое время, как куколки в замке танцуют и прохаживаются, как зеленый человечек все выплядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц спросил с нетерпением:

– Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выплянул из других дверей!

– Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, – возразил крестный.

– Ну так вели ему, – продолжал Фриц, – прохаживаться и танцевать с прочими, а не высовываться.

– И этого сделать нельзя, – был ответ.

– Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

– Ничего этого сделать нельзя, – ответил немного обиженный крестный, – в механизме все выполнено раз и навсегда.

– Во-о-т как, – протяжно сказал Фриц. – Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне такого не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать – словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки проделывают одно и то же; но она все же не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, увидев это, не мог удержаться, чтобы не сказать недовольным тоном:

– Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигаются куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором, ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили.

Любимец

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоит маленький человечек-куполка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговиц и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели у него на ногах, что казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носит такой же плащ и такую же смешную шапочку, и это вовсе не мешает ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сразу увидела, какое добродушие светится на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.

– Ах, – воскликнула Мари, – кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?

– Это вам всем, милые дети, – отвечал папа, – и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас щелкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых, белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал – щелк! – и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось вкусное белое ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.

– Ну, Мари, – сказал папа, – так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе. Береги его и защищай, хотя, впрочем, в его обязанность входит щелкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза под села к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходявшей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услышав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось – крак-крак! – и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

– Ах, мой бедный Щелкунчик! – заплакала Мари, отобрав его у Фрица.

– Какой же он глупый! – закричал Фриц. – Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

– Нет, нет, оставь, – со слезами сказала Мари, – я тебе не дам моего милого Щелкунчика, посмотри, как он на меня жалобно

смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчишка: ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

– Потому что так надо, – возразил Фриц, – и ты в этом ничего не смыслишь; а Щелкунчика все-таки отдай мне; его подарили нам всем!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

– Я поручил Мари беречь Щелкунчика, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

– Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж, наверное, на то была какая-то своя причина.

В одной из комнат квартиры советника медицины Штальбаума, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой не могли дотянуться Фриц и Мари, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), – итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное – такая мягкая, чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер, стрелки показывали двенадцатый час; крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом. Матери даже пришлось им напомнить, что пора идти спать.

– Правда, правда, – сказал Фриц, – надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, это я знаю хорошо.

С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сразу же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, ничего не опасаясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она,

занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть только одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.

– Приходи скорей, Мари, – сказала мама, уходя в свою комнату, – если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет встать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.

– Ах, мой милый Щелкунчик! – сказала она. – Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил: Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он мастер на такие штуки...

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера Щелкунчик вдруг скривил лицо и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.

– Ах, какая же я глупая девочка, чего я так испугалась? Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

– Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу на диван; ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.

– И чего я церемонюсь! – сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

«Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», – подумала Мари и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут – слушайте внимательно, дети! – тут за печкой, за стульями, за шкафами – словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую, кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

– Хррр...р! Часики, идите! Тише, тише, не шумите! Король мышиный к вам идет! Войско свое ведет! Хрр...р, хрр-р! Бим-бом! Бейте, часики, бим-бом!

И затем, мерно и ровно, часы пробили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидит уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего желтого кафтана, машет ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

– Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выплянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! – так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали строиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставляет своих солдат, когда они готовятся к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у

Маши по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, так же как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, но все же, если бы ты увидел то, что увидела Мари, то, не сомневаюсь, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся бы с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед за тем выплянуло целых семь мышинных голов с золотыми коронами, и – представьте – все эти семь голов сидели на одном туловище! Огромная семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышинного войска, которое встречало ее с громким, торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана – сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет, – но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно она попятилась к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. – и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и попрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:

– В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

– Ах, это колокольчики в игрушке крестного, – радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что изнутри он весь освещен каким-то странным светом, а игрушки шевелятся и двигаются, как живые.

Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и

закричал во всю мочь:

– Крак, крак! Мышиный король – дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак! – При этом он размахивал в воздухе шпагой и продолжал кричать: – Эй, вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

– Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они все, вместе со Щелкунчиком, спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись, а каково было спрыгнуть почти на два фута вниз бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.

– Ах, моя милая, добрая Клерхен! – воскликнула Мари. – Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику.

Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, тем временем говорила:

– О принц! Неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Оставайтесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы! Паяц, Полишинель, трубочист, тиролоц и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, оставайтесь со мной!

Но Щелкунчик не слушал добрых речей Клерхен, нет! Он вел себя весьма странным образом, он так барахтался, так болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:

– О сударыня! Верьте, ни на одну минуту я в битве не забуду вашего ко мне участия и милости!

Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях

Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:

– Нет, сударыня, нет, не этим! – и, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой.

Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари!

Однако битва еще впереди... Что-то будет!

Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная, густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами!

Что-то будет! Что-то будет!

Сражение

– Бей походный марш, барабанщик! – громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что стекла в шкафу задрожали.

Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска Фрица, с грохотом пооткрывались, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, впопыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

– Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места! – крикнул он сердито и затем, обернувшись к побледневшему Полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал: – Генерал! Я знаю вашу храбрость и ценю ваш опыт. Вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией. Самому вам лошади не надо, у вас

такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же ваш священный долг!

Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались ему в ответ из шкафа; кирасиры, драгуны, а главное – новые, блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, под предводительством Щелкунчика, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! – раздался первый залп, и Мари увидела, как ядра из драже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их сахаром добела, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны.

Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты, но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражаются с необыкновенной храбростью, и победа переходит то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали, и маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трудхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.

– О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет! Я! Самая красивая кукла! – воскликнула Клерхен.

– Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах! – перебила Трудхен; и, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения.

А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не смог бы себе даже представить! Прр...р! Пиф-паф, пуф! Трах, тарарах! Бим, бом, бум! – так и слышалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду раздавались крики и визг мышиноного короля и его мышей да грозный голос Щелкунчика, отдававшего приказания и храбро

ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувядаемой славой, но вдруг гусары Фрица были заброшены артиллерией мышей – отвратительными, зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был командовать им отступление и, вдохновившись ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а потом и самому себе, так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность батарею, стоявшую на маминой скамейке: и действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку, так что пушки, артиллеристы, прислуга – словом, все покатило по полу. Щелкунчик был озадачен и командовал отступление на правом фланге.

Ты, без сомнения, знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство, и я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного Щелкунчика, так любимого Мари. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца.

В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и, вдруг выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг Щелкунчика, но какое сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность – надо было перелезть через порог шкафа, – мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и выстроился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, морских котиков, обезьян и т. п., с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову, а тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского котика. Вот так в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и в рядах мышей: как только кровожадный солдат

мышьиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался наконец с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. «Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?» – отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам, с золотыми лицами, шляпами и шлемами, но они, неловко размахивая руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, но, напротив, сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:

– Коня! Коня! Полцарства за коня!

В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ; мышьиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:

– О, мой бедный Щелкунчик! – и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей.

В тот же миг все словно рассыпалось прахом, Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.

Болезнь

Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мари увидела, что лежит в своей постели, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон.

Возле нее сидел, как ей сначала показалось, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он

сказал тихонько:

– Ну вот, она очнулась.

Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.

– Ах, милая мамочка! – залепетала Мари. – Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?

– Полно, Мари, болтать всякий вздор, – сказала мама. – Какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уж без того напугала нас всех: видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку, и, если бы господин Вендельштерн не вынул у тебя из раны кусочки стекла, ты бы могла легко перерезать жилу и истечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, всю в крови и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамена; Щелкунчика ты держала на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты.

– Ах, мама, мама! Вот видишь! Это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей башмачок и... уже не помню, что было потом.

Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:

– Хорошо, хорошо! Пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик, веселый и здоровый, стоит в твоём шкафу.

Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь ее Щелкунчик спасся, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил: «О

моя милая, прекрасная Мари! Как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!»

Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки.

Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:

– Ну-ка дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари!

Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:

– Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтобы они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиноного короля! Зачем ты не помог Щелкунчику, не помог мне, гадкий крестный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!

– Что с тобой, Мари? – спросила мама с испуганным лицом; но крестный вдруг скорчил какую-то престранную гримасу и забормотал нараспев:

– Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Бейте, часики, тик-тук! Тик да тук, да тик, да тук! Бим-бом, бим-бам! Клинг-кланг, клинг-кланг! Бейте часики сильней! Прогоните всех мышей! Хинк-ханк, хинк-ханк! Мыши, мыши, прибегайте! Глупых девочек хватайте! Клинг-кланг, клинг-кланг! Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Прр-пурр, прр-пурр! Шнарр-шнурр, шнарр-шнурр!

Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера.

– Крестный, крестный! – закричал он. – Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за

печку.

Мама закусил губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:

– Послушайте, советник, что это, в самом деле, за неуместные шутки?

– О господи, – рассмеялся советник, – разве вы не знаете моей песенки часовщика? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари. – Тут он сел к Маше на кровать и сказал: – Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все его четырнадцать глаз. За это я тебя теперь пораду.

С этими словами крестный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого Щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть.

Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:

– Видишь, как крестный любит твоего Щелкунчика.

– Ну само собой, – возразил крестный, – только знаешь что, Мари, теперь у твоего Щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Пирлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?

– Послушай, крестный, – внезапно перебил Фриц, – зубы Щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?

– Ну ты, неугомонный! – проворчал советник. – Тебе нужно все знать и во все совать свой нос; какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам где хочет!

– Правильно! – закричал Фриц. – Если он храбр, то добудет себе оружие.

– Ну так что же, Мари, – продолжил советник, – знаешь ли ты историю о принцессе Пирлипат?

– Ах, нет, нет, милый крестный, – отвечала Мари, – расскажи мне ее, пожалуйста.

– Я надеюсь, советник, – сказала мама, – что история эта не будет такой же страшной, как бывает все, что вы рассказываете.

– О, несколько, дорогая госпожа Штальбаум, – возразил советник, – напротив, она будет очень забавной.

– Рассказывай, крестный, рассказывай, – воскликнули дети, и советник начал так:

Сказка о крепком орехе

Мать принцессы Пирлипат была женой короля, а потому Пирлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:

– Гей-да! Видел ли кто-нибудь девочку милее моей Пирлипатхен?

И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:

– Не видели, не видели!

И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз, глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы вились прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пирлипатхен родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов, и, когда, спустя два часа после ее рождения, рейхсканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-ай-ай!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал: «Ой-ой-ой!» – но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно: принцесса укусила рейхсканцлера за палец и вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы.

Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало всех жителей королевства, и только одна королева вдруг стала, неизвестно почему, грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. С этого мига у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты и у колыбели всегда сидели две няньки. Кроме того, королева приказала, чтобы еще шесть няnek постоянно дежурили в той же комнате. Но чего не мог понять уже решительно никто, так это того, почему каждая из этих шести няnek должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак

бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я-то знаю и сейчас вам расскажу.

Как-то раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и т. п. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести достойнейшее празднество. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете, тем более что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное время для колки свиней. Сказано – сделано! Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством; перед обедом же дружески сказал королеве:

– Ведь ты, дружок, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу...

Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки; когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух от варившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив: «Извините, господа, я сейчас вернусь», побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле и затем, успокоенный, вернулся, чтобы закончить заседание.

Между тем кухне предстояло самое важное дело: поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, ведь королева, из любви и уважения к королю, хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг из-под пола раздался тоненький голосок:

– Сестрица, сестрица! Позвольте мне кусочек! Ведь я такая же королева, как и вы; мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала.

Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта

приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и поэтому держит под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:

– Сделайте одолжение, госпожа Мышильда, пожалуйста сюда и кушайте на здоровье.

Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут, вслед за крысой, прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное – семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, вовремя подросла обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математиком по равному кусочку на каждую колбасу.

Между тем трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах – кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже – собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью и затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола, со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест; лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс; наконец после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма жженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами были:

– Слишком мало сала!

Королева, едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая.

– О бедный, несчастный супруг мой! – кричала она. – Чувствую, чувствую, как вы страдаете! В этой беде виновата я, и смиренно припадаю к вашим ногам! Накажите строго! Крыса Мышильда со

своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало! – И с этими словами королева без чувств упала навзничь.

Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:

– Обергофмейстерина! Как это могло случиться?

Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне.

Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество; но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали, так же как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца.

Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала, и расставил их около крысиной норы.

Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут дело, но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и, привлеченные вкусным запахом сала, все ее семь сыновей, а также многие из прочих родственников попались в машинки механика Дроссельмейера и были коварно пойманы опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне.

Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести.

Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, как-то раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из-под пола и сказала:

– Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтоб я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!

С этими словами она исчезла и больше уже не показывалась, а испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо.

– Но, впрочем, на сегодня довольно; конец расскажу в другой раз, – неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил:

– Много сразу – вредно для здоровья! Продолжение завтра.

С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:

– Крестный, крестный! Это правда, что ты выдумал мышеловки?

– Какой вздор ты городишь, Фриц! – сказала мама, но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:

– Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик; так почему же мне их не выдумать?

Продолжение сказки о крепком орехе

– Теперь вы знаете, дети, – начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером, – почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе. Да и как ей было не беспокоиться. Ее удручала мысль о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы, и придворный астроном, носивший титул тайного обер-звездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвести Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из няnek, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности, причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности.

Как-то ночью случилось, что одна из двух обер-гофняnek, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась – тишина! Ни шороха, ни мурлыканья! И только древесный червячок точит где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица

принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами! С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда (это была она) успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было! Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась.

– Слава Богу, она жива! – воскликнули няни; но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком! Вместо белой, с розовыми щечками, кудрявой головки на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная, уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей!

Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:

– О, несчастный я монарх!

Вот так оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга.

Кипя несправедливым гневом, он издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение четырех недель во что бы то ни стало вылечил принцессу или, по крайней мере, указал верное для этого средство; в противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова.

Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веря в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как помочь горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг.

Наступила среда четвертой недели, и король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:

– Христиан Дроссельмейер! Или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!

Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами.

– О святой инстинкт природы! – воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. – О неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу – и тайна откроется!

Он сию же минуту испросил позволения переговорить с придворным астрономом и был отведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого, упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех Кракатук и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко.

Орех Кракатук имеет такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить сорокавосьмифунтовое пушечное ядро. Мало того – этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапог. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза.

Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа, и наконец в субботу во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что

найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана.

– Сейчас же после обеда, – сказал он, – мы испытаем это средство; позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы, да, главное, не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные семь шагов; потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех Кракатук и маленького человечка предстояло еще отыскать и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев:

– Так прощайся же со своей головой!

На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонить милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминула ему представить добрая, тронутая участю Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба – часовщик и звездочет – немедленно отправятся на поиски ореха Кракатук и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях...

Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером.

Конец сказки о крепком орехе

На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее:

– Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около шестнадцати лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Кракатук. Какие страны они посетили,

какие диковинки видел – этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырех недель, а потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень истосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера^[1].

– О, мой милый, родной Нюрнберг! – воскликнул он. – Какие бы города ни посетил путешественник – Лондон, Париж, Петервардейн^[2], но, увидев тебя в первый раз, с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все!

Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь с силами, отер слезы и сказал:

– Послушай, любезный друг! Какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что? Отправимся же в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Кракатук.

– А что, ведь и в самом деле! – ответил, развеселившись, Дроссельмейер.

Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой находился Нюрнберг относительно того места в Азии, где оставались они, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Кракатук. Слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:

– Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!

Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования, рассказал, как он два года прожил у Финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Кракатук во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов

Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:

– Гм, гм! Эге! Вот оно как!

Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:

– Ну, братец! Ведь ты счастливец! Верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!

С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее:

– Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая найти удобное положение в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю, но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер^[3] 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.

Сомнение в том, точно ли это орех Кракатук, было немедленно развеяно астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово «Кракатук».

Можно себе было представить радость путешественников! Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что, кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба – и часовщик, и астроном – уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:

– Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Кракатук, но и маленького человечка, который должен его раскусить; и это не кто

иной, как сын нашего почтенного хозяина! Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа!

С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами.

Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он два Рождества кряду исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто, так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству его одевали в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:

– Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее: во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее, с помощью пружин, с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех Кракатук, он даст принцессу Пирлипат в жены и сделает наследником престола.

Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Пирлипат и стать королем, почему и охотно отпустил его с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно: он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки.

Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу, среди них было даже несколько принцев.

Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными, тощими ручонками едва держало огромную, уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличилось из-за белой, точно нитяной, бороды, которой обросли ее губы и подбородок.

Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти, зубные врачи только приговаривали:

– Ну и ну! Вот так орех!

Наконец, когда сокрушенный горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку.

Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:

– Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!

Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера Кракатук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы, и раздалось – крак! Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом пролотила ядро, и вдруг – о чудо! – уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками, глаза засверкали, точно голубые звездочки, а волосы завились прелестными золотыми колечками.

Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении принцессы, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно.

Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться семь шагов; однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в

седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы; молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжелый деревянный плащ.

Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но, однако, они заметили, что и крыса, вся в крови, лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец.

Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:

– Орех Кракатук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи! Пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Пришла пора умирать! Пик!

С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере между тем, казалось, все позабыли, но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:

– Прочь, прочь, гадкий Щелкунчик!

Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери.

Король, рассердившись, что ему хотели навязать в зятя такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно навсегда выслать их обоих из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдения и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки станет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего мышинным королем, и если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем!

Вот вам, дети, сказка о крепком орехе! Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему Щелкунчики бывают такие уроды!

Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат – недобрая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышинным королем и возвратит себе свою прежнюю красоту.

Дядя и племянник

Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случилось когда-нибудь порезаться стеклом, то он, без сомнения, помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Вот поэтому вам будет понятно, почему Мари должна была провести целую неделю в постели, к тому же при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу она нашла все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому Щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми, крепкими зубами и весело ей улыбавшемуся. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли Щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре Щелкунчика с мышинным королем? Раздумывая далее, она пришла к выводу, что Щелкунчик ее не кто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой племянник крестного Дроссельмейера.

В том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. «Но почему же не помог тебе твой дядя?» – сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. «Если, – думала Мари, – все куклы называли тогда себя его подданными, то значит, пророчество придворного астронома исполнилось и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».

Рассуждая так, умненькая Маша заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.

– Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер, – говорила она, обращаясь к Щелкунчику, – если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно.

Щелкунчик остался недвижим, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задрезбуждали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик: «Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук – я буду твой!»

Мари испугалась, но и ощутила какое-то необыкновенно приятное чувство.

Наступили сумерки. Советник медицины Штальбаум вернулся домой вместе с крестным; Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело беседуя. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:

– Крестный! А ведь я знаю, что мой Щелкунчик – это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышинным королем, сыном крысы Мышильды. Почему же ты ему не помогаешь?

При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.

– Откуда эта девочка набралась такого вздора? – сказал советник медицины.

– У нее очень живая фантазия, – ответила мама, – и все это не более чем горячечный бред.

– Да притом это неправда, – закричал Фриц, – мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!

Крестный, между тем ласково улыбаясь, поднял Мари на колени и сказал, глядя ее по головке:

– Не слушай их, моя маленькая Мари! Тебе Бог дал больше, чем всем нам! Ты, как моя Пирлипатхен в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном, прекрасном королевстве, что же касается твоего Щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя: мышинный король везде преследует его; но не я, а ты одна можешь его спасти, будь только стойкой и преданной!

Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел сказать крестный этими словами. Советнику же медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:

– Эге, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове, я вам что-нибудь пропишу.

Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:

– Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами.

Победа

Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.

– Ах, мыши! Это опять мыши! – с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышинный король, выскочив со своей семьей коронами из-под пола, одним движением вспрыгнул на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставившись на нее, запищал, щелкая гадкими зубами:

– Хи-хи-хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего Щелкунчика! – и, сказав это, опять исчез в своей норе.

Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать о своем приключении маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала:

– Какая неприятность, у нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты.

Так оно и было. Жадный мышиный король, съев конфеты, оставил только марципан, и то, должно быть, только оттого, что он пришелся ему не по вкусу, но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла своего Щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист! Мышиный король сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:

– Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол или я разгрызу пополам твоего Щелкунчика! Разгрызу, разгрызу!

Сказав это, он опять исчез под полом.

Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушкой, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были два почтальона с письмами да, кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец; был Пахтер Фельдкюммель с Орлеанской девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше; более же всех она любила маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, обернувшись к Щелкунчику, она сказала:

– Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень

тяжело!

Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиноного короля с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, в тот же миг позабыла все и твердо решила спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок она вечером положила на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула наконец своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюммеля с Орлеанской девой – в первый.

– Нет, это уже слишком! – воскликнула на другой день советница. – У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу! Представьте, что все сахарные куколочки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски!

Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:

– Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти!

– Ну как не быть? – весело воскликнул Фриц. – Внизу у булочника есть отличный серый кот; надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже это сама крыса Мышильда или сын ее, мышинный король!

– Да, – прибавила мама, смеясь, – а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки.

– О нет! – возразил Фриц. – Это очень ловкий кот; я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.

– Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, – сказала Луиза, которая их очень не любила.

– Я думаю, – сказал советник, – что Фриц прав, а пока можно будет поставить и мышеловку; ведь у нас она есть?

– Что за беда, если и нет, – закричал Фриц, – крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!

Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную.

Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:

– Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!

Фриц же тотчас выхватил саблю и закричал:

– А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!

Но все оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Ну смотри, крестный-часовщик! Не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!

Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, прошипел в самое ухо до смерти перепуганной, дрожащей Мари:

– Хитри, хитри! В оба смотри! Я ведь ловок! Не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платице и ботинки! А не то – ам-ам! Щелкунчика пополам! Хи-хи! Пи-пи, квик-квик!

Можно себе представить горе Мари! Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана, но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:

– Полно, успокойся, милая Мари! Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота.

Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:

– Ах, мой добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить меня вместо вас! О, бедная я, бедная девочка! Что же мне делать, что мне делать?

Так плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались и он внезапно проговорил тоненьким голоском:

– Ах, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Милый, единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев! Достаньте мне саблю, только саблю!.. А об остальном уж позабочусь я сам!

На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя?

Мари решила посоветоваться с Фрицем и вечером, когда родители ушли и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышиним королем и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти.

Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так, и, когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш.

Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:

– Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику: вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна.

Отставной полковник проживал на пожалованную ему Фрицем пенсию в углу, на третьей полке шкафа, его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее Щелкунчику.

Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало, и сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.

– Мышиный король! Мышиный король! – воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:

– Успокойтесь, милая фрейлейн Штальбаум, у меня хорошие вести!

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платье и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой, зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:

– О дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить! Мышиный король, смертельно раненный, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы!

С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, семь корон мышиноного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.

– Теперь, когда враг мой повержен, – продолжал Щелкунчик, – я покажу вам, дорогая фрейлейн Штальбаум, такие диковинные вещи, каких вы никогда не видели; решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас! Не бойтесь ничего!

Кукольное царство

Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым, милым Щелкунчиком, который, уж конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика и

была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:

– Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выпалась.

– Ну, в таком случае, – возразил Щелкунчик, – я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу.

Он пошел вперед, а Мари за ним, пока наконец оба не остановились перед большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого стоящего всегда закрытым шкафа отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная сделанная из кедрового дерева лестница.

– Взойдите по этой лестнице, милая Мари, – крикнул Щелкунчик сверху.

Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет, и она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.

– Мы на Леденцовом лугу, – сказал Щелкунчик, – и сейчас пройдем вон через те ворота.

Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора белого, шоколадного и розового цветов, но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом, потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались Миндально-Изюмными. Простой же народ довольно неучтиво называл их воротами обжор-студентов. На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян и играли янычарский марш, так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу.

Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного лежавшего по обе стороны дороги леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели, точно хрустальные колокольчики, и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.

– Ах, как здесь хорошо! – воскликнула восхищенная Мари.

– Мы в лесу Детских рождественских подарков, – сказал Щелкунчик.

– О, погодите же, не торопитесь, здесь так хорошо, – продолжала Мари.

Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.

– Извините, милая фрейлейн Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога; им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?

– Да что вы, балет был просто прелестен и очень мне понравился! – сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком.

Они пошли вдоль светлого струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.

– Это Апельсиновый ручей, – ответил Щелкунчик на расспросы Мари, – он и правда очень хорошо пахнет, но по своей красоте не

может сравниться с Лимонадной речкой, впадающей в озеро Миндального молока, которые мы сейчас увидим.

До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды, и скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлады веяла от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом; на берегу его сидели красивые детки и удили маленьких, толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами – все темного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренного миндаля или лимонных цукатов.

– Это деревня Медовых пряников, – сказал Щелкунчик, – и лежит она на берегу Медового ручья; жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем.

В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения; сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.

– Мы в Конфетенхаузене, – сказал Щелкунчик, – куда сейчас прибыло посольство от Шоколадного короля из Бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух, вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар Шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны. В столицу! В столицу!

Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полная любопытства Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск сверкавшей, как заря, водной поверхности, по которой с

тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более, по мере того как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.

– Ах, – воскликнула в восторге Мари, – это точь-в-точь то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер, а я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!

Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:

– Ну нет! Крестному такой вещи не сделать! Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум... Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить, отправимся лучше по Розовому озеру в столицу.

Столица

Щелкунчик захлопал в ладоши, и Розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего; волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним сверкавшую, точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких арапчат, в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышек колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру.

Как же весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой, кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн: «Послушайте, скорее, скорее – навстречу хорошенькой фее! Мушки, жужжите! Рыбки, плывите! Лебеди, песенки пойте! Волны, кружитесь, играйте! Птички, над нами летайте! Динь-динь-дон! Динь-динь-дон!»

Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким арапчатам, сопровождавшим Мари; они так сильно стали

махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали, и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою: «Клип-клап! Клип-клап! Не уступит вам арап! Рыбки, прочь! Птички, прочь! Клип-клап! Клип-клап!»

– Арапчата – веселый народ, – сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством, – но они у меня взбаламутят сейчас все море.

И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мари этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых глядели на нее прелестные улыбающиеся лица.

– Ах, – радостно воскликнула она, всплеснув руками, – посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь это принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!

Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

– О моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Это не принцесса Пирлипат, а вы, вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!

Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес Детских подарков; так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат.

– Мы в Цукатной роще, – сказал Щелкунчик, – а там лежит столица.

Боже! Что увидела Мари, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами.

Когда Мари со Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:

– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!

Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дроссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен; удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.

– О милая фрейлейн Штальбаум, – ответил тот, – в этом нет ничего удивительного: Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдете, прошу вас, дальше.

Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть! Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, оршада^[4] и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из сбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари.

Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины – словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт: толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине Великого Могола, сопровождаемого девяносто тремя подвластными ему князьями и семьями невольниками, и надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве пятисот человек; да, кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с тремя тысячами янычар, к тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая, с музыкой и звоном, торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые! Раздались жалобные крики; один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а Великий Могол чуть не был сбит с ног арлекином. Свалка принимала все более и более опасный характер, и дело почти уже

дошло до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось; каждый кинулся спасаться как мог. Великий Могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.

– Кто такой этот кондитер? – спросила Мари.

– Ах, милая фрейлейн Штальбаум, – отвечал Щелкунчик, – кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу; она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким, веселым народцем, и все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумье о том, что такое жизнь и что такое есть он сам!

В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, с множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар, звездочек.

– Мы перед Марципановым замком, – сказал Щелкунчик.

Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам:

– Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность или, лучше сказать, даже совершенная гибель: великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, но, к счастью, жители успели его умиловить, поднеся, в виде выкупа, целый квартал города и часть Конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше.

В эту минуту послышались звуки тихой, нежной музыки, ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли двенадцать маленьких

пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища – из рубинов и изумрудов, а ноги – из чистого самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах: Мари сразу же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью:

– О милый принц! Милый братец!

Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:

– Вот фрейлейн Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если б она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиним королем! Судите сами, может ли сравниться с фрейлейн Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, тысячу раз нет!

Дамы воскликнули:

– Нет! Нет! – и со слезами бросились обнимать Мари. – О милая, добрая спасительница нашего брата! Прелестная фрейлейн Штальбаум!

Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева.

Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды – все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был

готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:

– Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки.

Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку, а Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышинным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный мышинный король наверняка раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами, и т. д. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки; а затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой прозрачной пеленой, так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними; пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она, точно на легких, качающихся волнах, поднималась куда-то высоко-высоко, все выше... выше...

Заключение

Та-ра-ра-бух! – вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге открыв глаза, увидела она, что лежит в своей кровати, светлый день плядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:

– Как же ты, Мари, так долго спишь! Ведь уже завтрак на столе.

Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ею чудесами в Марципановом замке, в конце концов заснула и что мавры с пажами, а может быть, и сами принцессы перенесли ее домой, в ее кровать.

– Ах, мамочка, милая моя мамочка! Если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Дроссельмейер и какие чудеса я

видела! – воскликнула Мари и при этом рассказала все, о чем я вам уже поведал, на что мама удивилась и сказала:

– Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы.

Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда, так что мама наконец подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего, как обычно, на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:

– Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?

– Ах, мама, – перебила ее Мари, – да ведь Щелкунчик – это молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Дроссельмейера!

Тут оба – и советник, и советница – разразились неудержимым смехом.

– Папа, папа! – почти со слезами говорила Мари. – Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон мышинового короля и сказала, подавая их маме:

– Так вот смотри же, мама: видишь эти семь корон мышинового короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.

Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего металла и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтобы это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала, и, когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:

– Бедная, бедная я девочка! Что же должна я говорить?

В эту минуту дверь отворилась и в комнату вошел крестный.

– Что это? – воскликнул он. – Моя милая крестница Мари плачет! Что это значит?

Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:

– Так вот в чем дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и два года тому назад подарил Мари в день ее рождения. Разве вы забыли?

Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:

– Крестный, крестный! Ты все знаешь, уверь их, что Щелкунчик мой – твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, и что коронки мне подарил он!

Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:

– Какая, однако, глупая штука вышла!

Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

– Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости! Если же ты еще станешь уверять, что твой глупый Щелкунчик – племянник господина Дроссельмейера, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих кукол, не исключая мамзель Клерхен.

С тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало, хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие они видела! Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказы Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш! Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидал! Что касается

нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры!

Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и, вместо того чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали Маленькой Мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.

– Ах, милый господин Дроссельмейер, – вдруг невольно сорвалось с ее языка, – если б вы жили на самом деле, то поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Пирлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту!

– Ну-ну, глупые выдумки! – вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело и она без памяти свалилась со стула.

Очнувшись, она увидела, что мама хлопчет около нее и говорит:

– Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка! Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Ну, будь же умницей и веди себя при нем хорошо.

Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, – словом, кровь с молоком; на нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса; маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу.

Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими – марципаны и точно такие же фигурки, во всем подобные тем, которые изгрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи

для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу, раздавалось – крак! – и орех рассыпался на кусочки.

Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека, и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.

– Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, – сказал крестный, – я ничего не имею против; теперь все мои часы в порядке.

Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:

– О милая, дорогая фрейлейн Штальбаум! Примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Пирлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым Щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность! О милая фрейлейн! Осчастливьте меня вашей рукой! Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владельницей Марципанового замка!

Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:

– Милый господин Дроссельмейер! Я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой!

Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера.

Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали двадцать две тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками – словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи.

Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиноного короля.

Томас Майн Рид

Рождество в охотничьем домике

Зимой 18... года я получил короткий отпуск с корабля, чтобы провести Рождество в доме отца на западном берегу Ирландии. Сам же отец отправился на рождественский прием в Дублин, и из всех членов семьи в доме оставалась только моя сестра Кейт. Мне показалось, что рождественский обед будет достаточно скучным. Отца вызвали неожиданно, и в нашем доме не готовили никакого приема. Поскольку об отъезде никому из соседей известно не было – ближайший сосед жил в семи милях от нас, – нас тоже никуда не пригласили.

Но в этот миг мне пришла в голову мысль, которая могла избавить нас с сестрой от удручающей необходимости обедать вдвоем в большом зале. Мы решили, что проведем Рождество в охотничьем домике – к счастью, в отцовских владениях был такой уютный домик.

Я рассказал об этой задумке сестре, и она не только поддержала ее, но и искренне обрадовалась. Я ее понимал: такое редкое и такое оригинальное развлечение! Нечто подобное пикнику в середине зимы!

Однако же, после некоторого размышления, мною овладели определенные опасения – сейчас объясню, что их побудило. Охотничий домик, о котором идет речь, расположен в шести милях от нашего дома в сердце дикой горной местности, отрога хребта Сливениш, далеко от берега. Здесь нашей семье принадлежат немалые земли. Домик стоит в месте, куда почти невозможно добраться в экипаже на колесах; если бы не изобилие дичи вокруг, никто, кроме отъявленных отшельников, не согласился бы там жить. Впрочем, у домика были и привлекательные черты: он стоит в чрезвычайно живописном месте – ущелье тянется между высоких хребтов и заканчивается тупиком, на языке местного племени оно называется «пакоун», то есть «козья дыра». В ущелье растет несколько искривленных деревьев, жители называют их «сказочными колочками», деревья окружают зеленый луг – газон перед домиком. Возле домика разбиты сад и огород, есть место и для небольшой

конюшни. Такую райскую поляну окружают голые и мрачные горы, на фоне которых это местечко кажется еще более уютным и удобным.

Домик был одноэтажным с крышей, крытой соломой, и состоял всего из нескольких комнат – гостиной, трех спален и кухни. Гостиная в передней части, кухня сбоку, а спальни между ними. В задней части, над кухней, некое подобие чердака, с маленьким окошком, выходящим на конюшенный двор. Все окна в доме маленькие и хорошо укрепленные – они отлично приспособлены для защиты от сильных ветров, которые с шумом прорываются с моря прямо по ущелью. Шум этот напоминает звук тысячи труб.

Я даю столь подробное описание домика и его окрестностей, потому что это будет иметь значение дальше, когда я стану рассказывать о происшествии, которое произошло в то Рождество. Еще осталось объяснить причину, по которой мое предложение сестре можно было назвать не самым благоразумным. Вся страна кипела от возбуждения, говорили только о предстоящей высадке фениев, твердили, что они находятся в пути из Соединенных Штатов. Напомню, что фениями называло себя тайное общество, поставившее своей целью освобождение Ирландии от английского владычества.

Побережье наше, самое дикое на западе Ирландии, не охранялось, поэтому такая высадка была вполне возможна. Ближайшая воинская часть, пехотный отряд, размещалась в пятнадцати милях отсюда – в центральном, пусть и небольшом городке графства. Правда, в пяти милях от домика располагался полицейский участок. Но плохо, что в участке служили только сержант и несколько полицейских, к тому же к участку ведет крутая и почти непроходимая горная дорога.

Я еще раз объяснил все это сестре и намекнул на возможную опасность, но услышал в ответ только взрыв смеха и слова:

– Если есть опасность, так будет еще интереснее. Мне нравится мысль о приключениях в диких горах. Когда мы в следующий раз приедем в Дублин, будет о чем подругам рассказать.

– Но, Кейт, моя дорогая...

– Но, мой дорогой Морис, – прервала она меня, – возражать уже бесполезно. Ты уговорил меня провести Рождество в охотничьем домике, и я проведу его там – с тобой или без тебя. Ты повстречал множество приключений в чужих странах, и более чем эгоистично с

твоей стороны лишать меня маленького приключения в горах Сливениш.

После такого выстрела батареи – я увидел, что она приготовилась к новому залпу, – пришлось сдаться. Сестра, тем не менее, выстрелила снова, заметив:

– К тому же с нами будет Элен Кросби, мне кажется. Дом Хиллвью стоит недалеко от нашего охотничьего домика. Если ее никто не пригласил на Рождество, я уверена, что она присоединится к нам. Решено. Я напишу и приглашу ее.

Это был неотразимый аргумент: Элен Кросби – красавица, известная на всем побережье. Поэтому я не стал больше сопротивляться. Приняв окончательное решение, мы занялись подготовкой к переезду в охотничий домик в компании изрядного количества припасов. Не забыли мы и о выпивке.

В конце концов нам нечего было так уж опасаться фениев. Они отчего-то считали, что наше семейство благосклонно относится к их движению: думаю, не оттого, что мы как-то участвовали в их борьбе, но просто оттого, что мы принадлежали к «старому доброму ирландскому роду», как они выражаются. Они, должно быть, полагали, что уже от одного этого мы должны им сочувствовать. Кажется, сестра им сочувствовала; думаю, что сегодня, если брак, конечно, не изменил ее, она сочувствует гомрулю^[5], их последователям, и ратует за ограниченное самоуправление Ирландии.

– Мой дорогой Морис, нам с тобой грозит не бóльшая опасность от этих людей, чем от стада горных овец – их нам стоит опасаться не более, чем ягнят, если хочешь. А если ты им не доверяешь, есть еще капитан Уотерсон, командир береговой стражи. Ты говорил, кажется, что он твой друг? Почему бы тебе не пригласить его отобедать с нами, прихватив с собой с полдюжины солдат? Пусть домик маленький, но уверена, что старушка Пегги без труда сумеет разместить их на кухне.

Это была совсем неплохая мысль – я велел оседлать лошадь и отправился на станцию береговой стражи.

Капитан Уотерсон, как уже упоминалось, командовал станцией и был моим давним другом: мы вместе плавали на «Стиксе». Я передал приглашение сестры и рассказал ему о нашем предложении. Он приглашение принял и ответил:

– Если вы намерены провести Рождество в охотничьем домике, то считаю разумным предпринять некоторые предосторожности. Правительство от фениев ожидает неприятностей: сюда из Шеннона был направлен броненосец «Уорриор» с двумя пушками. И только что он прибыл.

– «Уорриор»! Рад это слышать. Ведь «Уорриор» ходит под командой нашего старого друга Кокрейна, верно?

– Да. Командует Кокрейн.

– Это отличная новость. Надо пригласить его на Рождество в охотничий домик, я напишу ему.

– Я как раз собираюсь отправить ему несколько сообщений. Если передадите мне письмо сейчас, я отправлю его вместе с моими бумагами.

– Очень хорошо.

Приглашение Кокрейну было отправлено немедленно, Вернувшись домой, я рассказал сестре об этой удаче.

Я радовался предстоящей встрече со своим старым другом. Мы учились в одной школе, потом, много лет назад, были вместе гардемаринами, и тогда же дали друг другу слово, что, если оба окажемся вблизи отцовских домов – мой находился в Ирландии, а его – в Шотландии, то обязательно познакомим друг друга со своими семьями. Впервые за все это время появилась возможность выполнить обещание: к счастью, я был дома и мог познакомить Кокрейна со своей семьей.

В то утро, когда мы с сестрой собирались отправиться в охотничий домик, я получил его ответ: он был готов приехать. Однако был вынужден приехать только на один день и не мог остаться на праздничную ночь – никому из офицеров корабля не разрешалось ночевать на берегу. Он добавил, что не ожидают опасности от фениев, но правительство считает необходимым быть готовым ко всему. Именно поэтому «Уорриор» и прислали.

Прочитав письмо Кокрейна, мы с сестрой и моим слугой Коном, родом из Уайтчепела, в должное время добрались до охотничьего домика. Как я уже говорил, он находится в шести милях от дома отца – шесть миль по прямой, но по горным дорогам приходилось преодолевать все десять.

– Добро пожаловать, ваша милость! – встретила нас старая Пегги, хозяйка домика. – Как я рада вас видеть, капитан, дорогой, и красивую леди – вашу сестру.

– Спасибо, Пег, спасибо! Я уж думал, ты меня не узнаешь, после стольких лет отсутствия.

Тогда я только что вернулся из четырехлетнего плавания по Тихому океану.

– Не узнаю вас, мистер Морис? Да я вас и через сто лет узнаю! Разве не старая Пегги держала вас на руках, когда вы были маленьким улыбающимся мальчиком?

– Послушай, Пегги, – вмешалась моя сестра, – я собираюсь тебя сместить. На одни сутки я стану хозяйкой. К тому же мы ожидаем гостей, так что подготовь свое кухонное оборудование.

– Ну, мисс, не самое удобное место для приема гостей, но я постараюсь; хотя, конечно, мы не сможем сделать все, что можно было бы сделать в Большом доме.

Пегги – известная кухарка, именно ею она была много лет в Большом доме. Но состарилась, вышла на пенсию, и ей отвели охотничий домик в качестве постоянного жилища. К тому же все равно кому-то нужно было за ним присматривать.

Кейт и кухарка занялись приготовлениями к празднику, а мы с Коном и Шоном, нашим лесничим, его в округе прозвали Джексобачник, отправились на конюшню, чтобы присмотреть за собаками.

Приведя в порядок свое охотничье снаряжение, я принялся прочесывать окружающие горные склоны. Там нашлось немало тетеревов и бекасов, и в лесу развелись зайцы. Ходил я недолго. Охотничья добыча должна была стать частью рождественского обеда, и мы с Джеком-собачником раздобыли ее на удивление быстро. Принесли с собой достаточно пушистых и пернатых обитателей гор и передали их на кухню Пегги и сестре, ставшей на сегодня ее помощницей.

Вскоре появился и Кокрейн – и с ним был один из офицеров корабля, молодой шотландец Сеймур. Он тоже оказался моим старым знакомым: на фрегате ее величества, на котором я служил лейтенантом, он был гардемаринном.

На Рождество собралось отличное общество – не хватало только одного человека, чтобы я почувствовал себя счастливым. Нужно ли

говорить, что этим человеком была Элен Кросби; но, как позже оказалось, к счастью, она была занята в другом месте.

Мужчины, служившие вместе и расставшиеся надолго, склонны к общению. Вспоминать о старых временах – огромное удовольствие. Это могут подтвердить и одноклассники, и солдаты, и моряки.

Хотя, мне кажется, больше всего это свойственно именно морякам. Мир лежит и перед ним, и за ним, он бывал во множестве стран и видел самые необычные сцены – одним словом, мозг его стал чем-то вроде склада или калейдоскопа: в нем люди и предметы между полюсами и экватором, от холодной Арктики до теплых островов Индийского океана.

Кейт встретила моих друзей с обычным радушием, я увидел, как восхищенно заблестели глаза Фрэнка Сеймура при первом же взгляде на нее. Могу добавить, что сестра моя не только энергична и весела, она еще очень красивая девушка – именно такая способна пленить сердце моряка.

Теперь мы ждали только Уотерсона; но, прежде чем садиться за стол, я получил записку от капитана береговой стражи: он просил прощения, что не сможет составить нам компании и объяснял это каким-то неотложным делом. Однако пообещал приехать и выпить с нами стакан вина, как только появится малейшая возможность. Пришлось начинать без него.

Еда оказалась даже лучше, чем я ожидал: Пегги продемонстрировала все свое поварское искусство.

Мы уже перешли к вину и каштанам и ожидали, что вот-вот к нашему обществу присоединятся солдаты береговой охраны. Но тут в комнату вошел мой слуга Кон и прошептал на ухо, что какой-то человек хочет поговорить со мной по очень важному делу.

Выйдя, я узнал одного из работников отца.

– Что вас привело сюда, Мик? – спросил я.

– Слава Богу, я успел вовремя, – ответил он, с трудом переводя дыхание.

– Вовремя? О чем это вы, Мик?

– Опасность, ваша честь. Фении высадились в Балливорни и следуют прямо в погоне за английскими офицерами, которые нынче празднуют у вас в доме.

– Фении? Это правда?

– Клянусь Святой Девой, хозяин!

Я не сомневался, что этот человек говорит правду. Как ни неприятна эта новость, было необходимо, чтобы гости ее узнали – причем немедленно.

– Ну что ж... – заметил Кокрейн, услышав мое сообщение. – Старина, боюсь, мы принесли вам неприятности.

– Вовсе нет, дорогой Кокрейн. Это я принес вам неприятности и сожалею об этом. Как мне ни хотелось вас видеть, не следовало все же приглашать вас сюда.

– Вздор, – ответил он. – Нам следовало лучше вас знать о положении вещей. Если кто-то и допустил ошибку, то это мы.

– Морис, что же нам делать? – нетерпеливо прошептала сестра. – Быть может, капитану Кокрейну и лейтенанту Сеймуру следует немедленно исчезнуть? Они могут уйти по горной дороге за домом, если ты отправишься проводником с ними. Нам с Пегги нечего опасаться. Не думаю, чтобы фении причинят нам вред.

– Ни в коем случае, мисс Френч, – вмешался Сеймур, услышав ее слова. – Мы и не подумаем так уходить. Кто знает, на что способны эти негодяи?

В это время в комнату вбежал Джек-собачник и принес еще более тревожную новость.

Он возвращался домой, но его остановили на дороге какие-то люди – это оказались настоящие фении – и велели отправиться к нам в охотничий домик. Они и сами идут сюда, а его послали с сообщением, что им нужны два английских офицера. Ни «мастеру Морису», ни «мисс Кейт» вреда они не желают.

– Они рассказали, ваша честь, – добавил лесничий, – что нескольких их товарищей расстреляли солдаты и они хотят выместить зло на офицерах.

– Сколько их? – спросил я.

– Человек двадцать; быть может, две дюжины.

– Вооружены?

– О нет, ваша честь! Откуда им оружие взять?

– Как ты думаешь, поблизости есть еще такие же?

– Я знаю, что есть, видел, что еще одна группа отправилась в дом лорда Барнхема, чтобы забрать оружие там.

– Очевидно, они настроены серьезно, – обратился я к друзьям. – Сейчас ночи темные. Не возражаете, если вам придется...

– Уйти тайком?.. – прервал меня Кокрейн, предвидя мое предложение. – Я отказываюсь. На мне мундир войск ее величества, и я не собираюсь скрываться от этих трусливых негодяев! Но здесь ваша сестра. Мы не должны служить для нее источником опасности.

– Шон, – сказал я, обратившись к лесничему, – как вы думаете, сумеете вы благополучно доставить мою сестру в Большой дом?

– Сумею и сделаю, мастер Морис. Даже если это будет стоить мне всей крови!

– О нет! – воскликнула Кейт, впервые догадавшись о наших намерениях. – Нет, брат. Я тебя не оставлю никогда! Помни: я умею и заряжать, и стрелять.

– Нет, нет, мисс Френч, – возразил Кокрейн. – Так не годится. Либо вы, либо мы должны отступить. Для нас это было бы позором, но для вас...

Крик с лужайки перед домом прервал его речь – это был сигнал о появлении врага. Фенин уже у входа в пакоун, и теперь ускользнуть из тупика невозможно: это они обязательно заметят.

О бегстве можно было не думать. Оставалось либо сражаться, либо сдаваться. Я судил по тому, что мне шепотом сказал Шон: сдать этой жестокой толпе гостей означает для наших друзей верную смерть. Одним словом, мы решили сопротивляться и стали торопливо готовиться.

Нас было шестеро мужчин: мои два гостя, я сам, Кон, Шон и кучер-англичанин, явившийся с Кокрейном. Было бы семеро, но работник Мик исчез, и мы его не нашли. Оружия у нас было достаточно: моя двустволка, ружье на уток, стрелявшее крупной дробью, еще одна двустволка с коротким стволом, мушкет и еще пара ружей – неплохая батарея для охотничьего домика. Как я уже говорил, окна в домике маленькие, их легко чем-нибудь прикрыть, превратив в отличные бойницы. Дверь достаточно прочная – если мы ее забаррикадируем, открыть ее можно будет только с помощью тарана.

Не откладывая, мы принялись укреплять свои оборонительные сооружения – замечу, что в этом принимали участие моя сестра и старая Пегги. И успели закончить как раз вовремя: как только мы выпрямились, голоса снаружи сообщили, что толпа показалась на

лужайке перед домом и движется к передним воротам – туда, где низкая каменная стена отделяет двор от кустарника.

Велев троем слугам защищать кухню, мы с Кокрейном и Сеймуром оставались в передней части дома, в гостиной. Но прежде чем заходить слишком далеко, я решил, что благоразумнее будет попытаться вступить в переговоры.

– Добрые люди! – крикнул я из самого узкого окна, превращенного в бойницу. – Зачем вы здесь? И что вам нужно?

– Мистер Морис Френч, – отозвался голос, который я сразу узнал, – мы не желаем вам и всем вашим гостям никакого вреда. Нам нужны только английские офицеры, и мы намерены их взять.

Это прокричал Салливан, один из самых больших негодяев, известный в округе под прозвищем *Тигна Доул* – Том-Дьявол.

– Салливан, – ответил я, – офицеры, которые гостят у меня, не англичане, они родом из Шотландии.

– Неважно. Они английские офицеры, а двоих наших расстреляли их моряки. Так что вы должны их нам отдать, мистер Морис Френч.

– Никогда! – без колебаний ответил я. – Эти джентльмены – мои гости, и мой долг хозяина и честного человека – защищать их. Если ты захочешь их взять, то только через мой труп. Я сразу предупреждаю тебя о последствиях, если ты попробуешь это сделать.

– Откажись от них! – воскликнул кто-то еще из отряда. – Мы их все равно заберем, так что тебе лучше отказаться.

– Никогда! – повторил я так же решительно, как и раньше. Одновременно прошептав стоявшим сзади друзьям: – Оружие приготовить...

– Парни! – услышал я еще чей-то голос. – Я его давно знаю. Этот Морис Френч... Он говорит серьезно. Нам лучше поискать удачи в другом месте.

– Тем хуже для него, – вмешался Салливан. – Мы обойдемся с ним точно так же, как и с остальными.

– Капитан Френч! – услышал я голос того, кто говорил, что меня знает давно. Этот голос тоже показался мне знакомым. – Капитан Френч, вы должны меня помнить. Меня зовут Диллон. Мы служили вместе на «Сьюпербе». Может, вы забыли, как меня выпороли по вашей жалобе. Но я-то не забыл, и теперь моя очередь, так что получайте!

Раздался звук выстрела, и пуля ударила в подоконник прямо передо мной. Крошки штукатурки попали мне прямо в лицо.

Я ожидал чего-то в этом роде и заранее зарядил дробовик крупной дробью. Через мгновение я поднес его к плечу и, отвечая на вспышку выстрела Диллона, разрядил оба ствола.

Крик боли свидетельствовал, что я его задел. Одновременно со мной Кокрейн и Сеймур из второго окна выстрелили в толпу, собравшуюся у ворот.

Ответили ружья врага. В ущелье слышались вопли, словно в нем поселился легион демонов.

Торопливо повернувшись и положив разряженное оружие, мы снова повернулись лицом к нападающим. Обе дамы – моя сестра и старая Пегги – принялись хладнокровно перезаряжать наши ружья.

Некоторое время царила тишина, выстрелов слышно не было. Нам подумалось, что негодяи решили, что с них хватит, и разбежались. Ночь была очень темная, и ничего снаружи не было видно. В темноте едва виднелась серая каменная стена. Мы знали, что если враги остались, то спрячутся за ней. Я вглядывался в темноту – мне показалось, что я различаю тут и там что-то, напоминающее человеческие головы. Но они поднимались и опускались так быстро и призрачно, что я мог и ошибиться.

Вскоре мы услышали шум; некоторое время слышались голоса многих людей. Похоже, шел ожесточенный спор. Теперь уже сомнений не оставалось: наши враги не ушли. Они спрячутся за стеной и о чем-то между собой совещаются. Я уверился, что темные предметы, время от времени показывающиеся над стеной, не галлюцинация, а головы.

В этот момент я отдал бы сто гиней, чтобы узнать, которая из них принадлежит Салливану. Было очевидно, что именно этот тип, да еще мой «сослуживец» Диллон – настоящие предводители и движущая сила нападающих. С Диллоном как будто покончено. Еще один такой удачный выстрел в Салливана, и, по всей вероятности, нападающие будут обезглавлены. Однако стрелять наудачу – дело неблагодарное. Я держал ружье наготове, Кокрейн и Сеймур делали то же самое.

Мы уже начинали думать, что наши выстрелы запугали противника и что он больше о нападении не думает; но тут с дальнего конца поляны послышались новые голоса, им ответили крики

Салливана и его товарищей, которые продолжали скрываться за стеной. Я догадался, что это значит. К врагам подошло подкрепление – та часть отряда, которая отправилась отбирать оружие у лорда Бернхема!

Им это удалось. Это доказывал залп, который прозвучал, как только новые враги присоединились к старым. Потом, словно потеряв осторожность от такого численного преимущества, враги показались над стеной и бросились к дому. Одновременно мы трое выстрелили в самую гущу – раздались крики и стоны. Еще несколько мгновений слышались проклятия и топот. Теперь мы были окружены, и враг подобрался совсем близко.

Я снова повернулся за заряженными ружьями. Рядом со мной стояла сестра.

– Вот, Морис! – воскликнула она. – Вот это заряжено, оба ствола! Только трусы так нападают! Не промахнись, прошу!

– Обязательно, Кейт, – ответил я, беря у нее ружье. – Погасите огни. Держись поближе к стене, сестра.

Свечи погасили, и мы оказались в темноте.

Но ненадолго. Не успели мы освоиться, как снаружи что-то вспыхнуло, будто зажгли спичку, потом огонь снова погас. Я не успел понять, что это такое. Но у сестры слух острее, и она услышала слова, объяснившие, что происходит.

– Они собираются поджечь крышу! – прошептала она. – Я слышала, как один из них говорил об этом.

Но не успела она это произнести, как снова блеснул свет – но на этот раз не погас, а стал разгораться все ярче. Мгновение спустя в окнах стало красно, как будто на небе вошло солнце. Однако это было не солнце – горела соломенная крыша, насколько можно было судить по треску. Крыша над нами в огне!

– Боже мой! – крикнул я Кокрейну. – Мы поджаримся живьем! Или должны сдаться на милость рассвирепевшей толпы?

– Да, должны! – ответил голос снаружи, это кричал Салливан. – Выбирайте! Отдавайте своих английских гостей или поджаривайтесь вместе с... а-а-а-ах!

Это «ах», которым окончилась речь Салливана, очень походило на стон. Это было так неожиданно и необъяснимо, что мы все застыли в удивлении.

Но только на долю секунды. Одновременно с этим восклицанием послышался треск флотских ружей. Залп за залпом, которые для нашего привычного слуха прозвучали настоящей музыкой. Трудно было не узнать стрельбу нескольких рядов обученных солдат. Наступила глубокая тишина; вокруг домика все неожиданно стихло. Наконец из глубины ущелья послышался голос, который я узнал. Капитан Уотерсон отдал приказ:

– Вперед! В штыки!

– Клянусь Иисусом, береговая стража! – воскликнул кто-то за окном.

Последовал торопливый топот, словно от домика разбежался насмерть перепуганный скот: мы увидели, как наши трусливые противники разбегаются во всех направлениях.

Но это им не удалось. Люди Уотерсона переловили почти всех пытавшихся выбраться из «козьей дыры», и среди них Салливана, раненного пулей в ногу. Но на этом его история не окончилась: спасая свою шкуру, он стал изменником и доносчиком и выдал других фениев.

Пожар погасить не удалось, домик мы не спасли. В огне погибло все охотничье снаряжение. Надо заметить, что мой друг Сеймур потерял гораздо больше: еще до ухода корабля он признался моей воинственной сестре, что потерял свое сердце. А когда он рассказал мне об этом, я ответил, что не имею ни малейших возражений против такого зятя.

Ги де Мопассан

Рождественское чудо

Доктор Бонанфан задумался о прошлом, повторяя вполголоса:

– Рождественская история?.. Рождественская история?.. – И вдруг воскликнул: – Да, конечно! У меня есть одно воспоминание и в самом деле необыкновенное. Настоящая фантастическая история. Да, видел чудо. Именно так, сударыни, чудо в рождественскую ночь.

Вас удивляет, что это говорю вам я – человек, ни во что не верящий? И тем не менее я готов повторить – да, я видел чудо! И еще раз повторю: я его видел, видел собственными глазами, именно видел.

Но удивило ли оно меня? Отнюдь нет: если я не верю в ваши догматы, то верю в существование веры и знаю, что она движет всем миром. Я мог бы привести много примеров, но боюсь возбудить в вас негодование и ослабить эффект моего рассказа.

Прежде всего признаюсь, что если я и не был переубежден всем виденным, то, во всяком случае, был очень взволнован. А теперь я постараюсь передать вам все это с наивной доверчивостью и бесхитростностью настоящего овернца^[6].

Тогда я был деревенским врачом и жил в самой глуши Нормандии, в городке Рольвиль.

Зима в тот год выдалась лютая. С конца ноября после недели морозов выпал снег. С севера надвигались тяжелые тучи, затем начали падать густые белые хлопья. За одну ночь вся долина покрылась белым саваном.

Одинокие фермы среди квадратных дворов, за завесой больших деревьев, опущенных инеем, казалось, уснули под этим плотным и легким покрывалом.

Ни один звук не нарушал тишины деревни. Одни только вороньи стаи чертили длинные узоры по небу в тщетных поисках корма. Они спускались черными тучами на мертвые поля и клевали снег своими большими клювами.

Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мерзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца. Так длилось всю неделю, потом снегопад прекратился и землю окутал покров почти в пять футов толщиной.

Затем погода прояснилась. В течение долгих трех недель небо, днем ясное, как голубой хрусталь, ночью покрывали звезды, напоминавшие иней на холодной суровой глади. Гладкая пелена твердого и блестящего снега – вот и все, что можно было увидеть в такой ясный и морозный день.

Долина, изгороди, вязы за ними – все, казалось, было мертво, убито стужей. Ни люди, ни животные не показывались на улице; только трубы, торчащие из хижин в белых сугробах, свидетельствовали о том, что жизнь еще теплится: тоненькие, прямые струйки дыма, поднимавшегося в ледяном воздухе, выдавали обитаемое жильё.

Время от времени слышался треск деревьев. Казалось, что их деревянные руки ломались под коркой льда, наконец какая-нибудь толстая ветка отделялась и падала: холод замораживал древесные соки и разрывал заледеневшие волокна.

Жилища, разбросанные среди полей там и сям, казались отделенными друг от друга на сто лье. Я пытался навещать моих ближайших больных, каждый день рискуя быть погребенным в какой-нибудь яме.

После нескольких обычных визитов я заметил, что вся округа охвачена таинственным страхом. Говорили, что подобное бедствие не может быть естественным явлением, – более того, самые напуганные клялись, что по ночам слышны голоса, резкий свист, чьи-то крики.

Такие крики и свисты, вне всякого сомнения, издавали стаи птиц, в сумерки перелетавшие на юг. Но попробуйте переубедить обезумевших людей – ужас охватил округу, все только и ждали какого-то необыкновенного события.

На большой дороге, в те дни заметенной снегом и пустынной, в конце деревушки Эпиван, стояла кузница дядюшки Ватинеля. Когда у рабочих вышел весь хлеб, кузнец решил сходить в деревню. Несколько часов он провел в разговорах, навестив с полдюжины домов, местный центр жизни, купил хлеба, наслушался новостей и заразился страхом, царившим в деревне. Еще до наступления темноты он отправился домой.

Проходя вдоль какого-то забора, он вдруг заметил на снегу яйцо. Несомненно, то было именно яйцо, белое, как все кругом. Он наклонился и уверился: яйцо. Но откуда оно? Какая курица могла

покинуть курятник и снести яйцо именно здесь? Удивленный кузнец ничего не понимал. Однако он взял яйцо и принес его жене.

– Хозяйка, я принес тебе яйцо. Я нашел его на дороге.

Жена покачала головой:

– Яйцо на дороге? В такую погоду! Да ты, видно, пьян.

– Да нет же, хозяйка, настоящее яйцо: оно лежало у забора и было еще теплое, не замерзло. Вот оно, я положил его за пазуху, чтоб оно не стыло. Съешь его за обедом.

Яйцо опустили в котел, где варился суп, а кузнец принялся пересказывать то, о чем толковали в деревне. Жена слушала, побледнев.

– Клянусь тебе, прошлой ночью я слышала свист: мне даже казалось, что он шел из трубы.

Сели за стол. Сначала поели суп. Потом, пока муж намазывал масло на хлеб, жена взяла яйцо и подозрительно осмотрела его.

– А если в этом яйце что-нибудь есть?

– Что же, по-твоему, может там быть?

– Почему я знаю!

– Будет тебе... Ешь и не дури.

Она разбила яйцо. Оно было самое обыкновенное и очень свежее.

Она стала нерешительно есть его, то откусывая кусочек, то оставляя, то опять принимаясь за него. Муж спросил:

– Ну, что, какво оно на вкус?

Она не ответила и, проглотив остатки яйца, вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом. Посидев так мгновение, она сжала руки в кулаки и упала на пол, извиваясь в конвульсиях и издавая страшные крики.

Всю ночь она билась в страшном припадке. Ее сотрясала смертельная дрожь, обезображенная отвратительными судорогами. Кузнец, не в силах справиться с женой, вынужден был ее связать.

Ни на минуту не умолкая, она кричала поистине ужасным голосом:

– Он у меня в животе!.. Он у меня в животе!..

Меня позвали на следующий день. Я без малейшего результата перепробовал все известные успокаивающие средства. Стало ясно, что женщина потеряла рассудок.

С невероятной быстротой, несмотря на непроходимые сугробы, по всем фермам разнеслась удивительная новость: «В жену кузнеца вселился бес!»

Отовсюду приходили любопытные, не решаясь, однако, войти в дом. Они издали слушали ее ужасные крики – трудно было поверить, что этот громкий вой принадлежит человеческому существу.

Позвали деревенского священника – старого, простодушного аббата. Он прибежал в стихаре, как для напутствия умирающему, и, протянув руки, произнес молитву, пока четверо мужчин держали корчившуюся на кровати и брызгавшую пеной женщину. Но беса так и не изгнали.

Наступило Рождество, а погода стояла все такая же. Накануне утром ко мне пришел кюре.

– Я хочу, – сказал он, – чтоб эта несчастная присутствовала сегодня на вечернем богослужении. Быть может, Господь для нее сотворит чудо в тот самый миг, когда сам родился от женщины.

Я ответил:

– Всем сердцем одобряю ваше желание, господин аббат. Если на нее подействует богослужение – а это лучшее средство растрогать ее, – она может исцелиться и без лекарств.

Старый священник пробормотал:

– Вы, доктор, человек неверующий, но ведь вы поможете мне? Вы возьметесь доставить ее?

Я обещал ему помочь. Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя густой и тяжелый печальный звон в мертвое пространство, укрывая призывом белую и мерзлую снежную гладь.

Послушные медному зову, к церкви потянулись группы черных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, еще больше подчеркивая унылую белизну полей.

Я взял четырех сильных мужчин и отправился к кузнецу. Одержимая по-прежнему кричала, привязанная к кровати. Она ужасно сопротивлялась, но все же мы смогли ее одеть и наконец понесли.

Церковь, холодная, но освещенная, уже была полна народу: певчие тянули однообразный мотив, орган хрипел, маленький колокольчик в руках служки тихонько звенел, управляя движениями верующих.

Женщину с ее сторожами я запер в кухне церковного дома и стал выжидать, когда наступит, по моему мнению, благоприятная минута.

Я выбрал момент вслед за причастием. Все крестьяне, мужчины и женщины, причастившись, приобщились к Богу. Пока священник совершал таинство, в церкви царила глубокая тишина. Я сделал знак, дверь отворилась, и четверо моих помощников внесли сумасшедшую.

Как только женщина увидела свет, коленопреклоненную толпу, освещенные хоры и золотой ковчег, она забилась с такой силой, что чуть не вырвалась из наших рук. К тому же она кричала, да так пронзительно, что трепет ужаса пронесся по церкви. Все головы поднялись, многие из молящихся убежали.

Несчастливая потеряла человеческий облик, корчилась и извивалась в наших руках, с искаженным лицом и безумными глазами. Ее протащили до ступенек клироса и с силой пригнули к полу.

Священник молча ждал. Когда ее усадили, он взял дароносицу, на дне которой лежала белая облатка, и, сделав несколько шагов, поднял ее обеими руками над головой бесноватой – так, чтобы она могла видеть ее...

Женщина по-прежнему выла, устремив пристальный взгляд на блестящий предмет. Аббат стоял так неподвижно, что его можно было принять за статую. Это тянулось долго-долго.

Потом несчастную, казалось, охватил страх: как замороженная, она, не отрываясь, смотрела на чашу, время от времени ее сотрясала страшная дрожь. Женщина продолжала кричать, но уже не так громко. И это тоже тянулось долго.

Казалось, она не могла отвести взгляд от дароносицы – и теперь уже только стонала, ее напряженное тело ослабело и поникло. Вся толпа пала ниц.

Одержимая то быстро опускала веки, то снова поднимала их, точно не в силах вынести зрелище своего Бога. Но, к счастью, она уже не кричала. Вскоре я заметил, что она закрыла глаза: она впала в сомнамбулический сон, загипнотизированная – простите, умиротворенная – созерцанием блестящей золотом чаши, сраженная Христом-победителем. Ее унесли, обессилевшую, и священник вернулся в алтарь.

Потрясенные свидетели грянули «Te deum» во славу милости господней.

Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась, ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении.

Вот, сударыни, и все виденное мною чудо.

Доктор Бонанфан умолк, а потом с досадой прибавил:

– Я вынужден был засвидетельствовать чудо в письменной форме.

Николай Гоголь

Ночь перед Рождеством

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо осветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; один только месяц заглядывал в них украдкой, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, заметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другой, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестяли. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что

у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не блее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою^[7] в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в

правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий^[8] отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек^[9] с суконною покрывкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется

удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура – взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

– Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? – говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. – Там теперь будет добрая попойка! – продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. – Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут – страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился...

– Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

– Что? – произнес кум и поднял свою голову также вверх.

– Как что? Месяца нет!

– Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

– То-то что нет, – выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. – Тебе небось и нужды нет.

– А что мне делать!

– Надобно же было, – продолжал Чуб, утирая рукавом усы, – какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь – чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь – и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи

напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

– Так нет, кум, месяца?

– Нет.

– Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

– Кой черт, славный! – отвечал кум, закрывая березовую тавлинку^[10], исколотую узорами. – Старая курица не чихнет!

– Я помню, – продолжал все так же Чуб, – мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! Добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе.

– Так, пожалуй, останемся дома, – произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

– Нет, кум, пойдем! Нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске^[11], а в каком-нибудь капоте,

то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? – говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. – Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, – продолжала красавица, не выпуская зеркала, – так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! Их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвилились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! – и, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: – Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

– Чудная девка! – прошептал вошедший тихо кузнец, – и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? Вы поглядите на меня, – продолжала хорошенькая кокетка, – как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, повернулась она в другую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было

неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз – вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

– Зачем ты пришел сюда? – так начала говорить Оксана. – Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатой? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

– Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

– Кто же тебе запрещает, говори и пляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и осветилось в очах.

– Позволь и мне сесть возле тебя! – сказал кузнец.

– Садись, – проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

– Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! – произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на не приметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

– Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажей.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, – думал про себя, повесив голову, кузнец. – Ей все игрушки; а я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит сама собою;

мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

– Правда ли, что твоя мать ведьма? – произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувшихся жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

– Что мне до матери? Ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». – «Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!»

– Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, – проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. – Однако ж дивчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

– Бог с ними, моя красавица!

– Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

– Так тебе весело с ними?

– Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул, верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждаться? – говорил сам с собою кузнец. – Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» – прервал его размышления.

– Постой, я сам отворю, – сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и

смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр^[12], поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатою горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посередине хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешая между прочим заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк^[13] с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, – как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это – заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса^[14], то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону

глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник вмешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму, корову, или дядю, толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек, и оборачивался задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей^[15] с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоила благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегла к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел как-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою^[16], когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевелиться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после

того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучьи бабы!» – бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчевает его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъясил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники повернули назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно.

– Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, – сказал, немного отошедши, Чуб, – я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой выюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и наконец набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решил идти сам.

Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

– Чего тебе тут нужно? – сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, – говорил он про себя, – в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

– Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? – произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, – подумал Чуб, – чего доброго, еще приколотит проклятый выродок!» – и, переменив голос, отвечал:

– Это я, человек добрый! Пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

– Убирайся к черту с своими колядками! – сердито закричал Вакула. – Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

– Что ж ты, в самом деле, так раскричался? – произнес он тем же голосом. – Я хочу колядовать, да и полно.

– Эге! да ты от слов не уймешься!.. – Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

– Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! – произнес он, немного отступая.

– Пошел, пошел! – кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

– Что ж ты! – произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. – Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

– Пошел, пошел! – закричал кузнец и захлопнул дверь.

– Смотри, как расхрабрился! – говорил Чуб, оставшись один на улице. – Попробуй подойти! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду. Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скинуть кожуха! Пстой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно... Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намывила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» – и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только

внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все напереерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью плядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

– Э, Одарка! – сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, – у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.

– Не тужи, моя ненаглядная Оксана! – подхватил кузнец. – Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

– Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

– Видишь, какие захотела! – закричала со смехом девичья толпа.

– Да, – продолжала гордо красавица, – будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

«Смейся, смейся! – говорил кузнец, выходя вслед за ними. – Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит – ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться». Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а, увидевши свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

– Спрячь меня куда-нибудь, – шептал голова. – Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, побряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее, и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

– А что это у вас, великолепная Солоха? – и, сказавши это, отскочил он несколько назад.

– Как что? Рука, Осип Никифорович! – отвечала Солоха.

– Гм! рука! хе! хе! хе! – произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

– А это что у вас, дражайшая Солоха? – произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

– Будто не видите, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. – Шея, а на шее монисто.

– Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! – И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

– А это что у вас, несравненная Солоха?.. – Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

– Ах, боже мой, стороннее лицо! – закричал в испуге дьяк. – Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

– Ради бога, добродетельная Солоха, – говорил он, дрожа всем телом. – Ваша доброта, как говорит Писание Луки глава трина... трин... Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь.

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

– Здравствуй, Солоха! – сказал, входя в хату, Чуб. – Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. – продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. – Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? – И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. – Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... Эк окостенели руки: не расстегну кожуха! Как схватилась вьюга...

– Отвори! – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

– Стучит кто-то, – сказал остановившийся Чуб.

– Отвори! – закричали сильнее прежнего.

– Это кузнец! – произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. – Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дяк. Бедный дяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!» Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

«Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? – говорил кузнец. – Не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего!

Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, – вскричал он, помолчав и ободрившись, – что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму». И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. «Взять и этот, – продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт. – Тут, кажется, я положил струмент свой». Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкою не возиться...

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку каши,
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы

были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки, так, что находившийся на дне дык заохал от ушиба и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется. Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. «А, Вакула, ты тут! здравствуй! – сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. – Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж!» – и, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше... – произнес он наконец. – Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!» Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

– Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

– Куда, Вакула? – кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

– Прощайте, братцы! – кричал в ответ кузнец. – Даст Бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

– Он повредился! – говорили парубки.

– Пропадшая душа! – набожно пробормотала проходившая мимо старуха. – Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я, в самом деле, бегу? – подумал он. – Как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!» При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и, казалось, винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадучкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. «Нет, этот, – подумал Вакула про себя, – еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

– Я к твоей милости пришел, Пацюк! – сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

– Ты, говорят, не во гнев будь сказано... – сказал, собираясь с духом, кузнец, – я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, – приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадучку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки.

Ободренный кузнец решил продолжить:

– К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! – Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. – Пропадать приходится мне, грешному! Ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк, – произнес кузнец, видя неизменное его молчание, – как мне быть?

– Когда нужно черта, то и ступай к черту! – отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

– Для того-то я и пришел к тебе, – отвечал кузнец, отвешивая поклон, – кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

– Сделай милость, человек добрый, не откажи! – наступал кузнец. – Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена

или иного прочего в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

– Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, – произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, – говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки; да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако что за черт! Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» – и набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься... Но черт, наклонив

свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

– Это я – твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, – пискнул он ему в левое ухо. – Оксана будет сегодня же наша, – шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

– Изволь, – сказал он наконец, – за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! – думал он про себя. – Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромым черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

– Ну, Вакула! – пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, – ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

– Я готов! – сказал кузнец. – У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! – Тут он заложил назад руку – и хватъ черта за хвост.

– Вишь, какой шутник! – закричал, смеясь, черт. – Ну, полно, довольно уже шалить!

– Постой, голубчик! – закричал кузнец. – А вот это как тебе покажется? – При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. – Постой же, – сказал он, стаскивая его за хвост на землю, – будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! – Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

– Помилуй, Вакула! – жалобно простонал черт. – Все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

– А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

– Куда? – произнес печальный черт.

– В Петербург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. «Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго, может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первой красавицей на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я, в самом деле, сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» – и ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

– Постойте, – сказала одна из них, – кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

– Это кузнецовы мешки? – подхватила Оксана. – Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

– Но мы не поднимем их! – закричала вся толпа вдруг, сиюсь сдвинуть мешки.

– Постойте, – сказала Оксана, – побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... Это удерживало его, и он решил ждать, слегка только побряхывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс – сколько работы! Да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка

расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчевает его, но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью среди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

– Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! – сказал он, осматриваясь по сторонам, – должно быть, тут и свинина есть. Повезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в *шмак*: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто ни увидел. – Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. – Нет, одному будет тяжело несть, – проговорил он, – а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

– Здравствуй, – сказал, остановившись, ткач.

– Куда идешь?

– А так. Иду, куда ноги идут.

– Помоги, человек добрый, мешки снести! Кто-то колядовал, да и кинул посередине дороги. Добром поделимся пополам.

– Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

– Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

– Куда ж мы понесем его? в шинок? – спросил дорогою ткач.

– Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

– Да точно ли нет дома? – спросил осторожный ткач.

– Слава богу, мы не совсем еще без ума, – сказал кум, – черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

– Кто там? – закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

– Вот тебе на! – произнес ткач, опустья руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходящий из дому никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

– Вот это хорошо! – сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. – Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

– Лысый черт тебе покажет, а не мы, – сказал, приосанясь, кум.

– Тебе какое дело? – сказал ткач. – Мы наколядовали, а не ты.

– Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! – вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворнохватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

– Что мы допустили ее? – сказал ткач, очнувшись.

– Э, что мы допустили! А отчего ты допустил? – сказал хладнокровно кум.

– У вас кочерга, видно, железная! – сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. – Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, та ничего... не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

– Э, да тут лежит целый кабан! – вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

– Кабан! Слышишь, целый кабан! – толкал ткач кума. – А все ты виноват!

– Что ж делать! – произнес, пожимая плечами, кум.

– Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок! Ну, приступай!

– Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан! – кричал, выступая, ткач.

– Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро! – говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

– Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! – сказал кум, выпуча глаза.

– Вишь, какого человека кинуло в мешок! – сказал ткач, пятась от испугу. – Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

– Это кум! – вскрикнул, взглядевшись, кум.

– А ты думал кто? – сказал Чуб, усмехаясь. – Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Пойдите же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

– Вот и другой еще! – вскрикнул со страхом ткач. – Черт знает как стало на свете... голова идет кругом... не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

– Это дьяк! – произнес изумившийся более всех Чуб. – Вот тебе на! Ай да Солоха! Посадить в мешок... То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков... Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному... Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», – лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, – глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шая, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

– Посмотрим, что-то лежит тут, – закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

– Ах, тут сидит кто-то! – закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

– Что за черт! Куда вы мечетесь как угорелые? – сказал, входя в дверь, Чуб.

– Ах, батько, – произнесла Оксана, – в мешке сидит кто-то!

– В мешке? Где вы взяли этот мешок?

– Кузнец бросил его посередине дороги, – сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» – подумал про себя Чуб.

– Чего ж вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

– Ах! – вскрикнули девушки.

«И голова влез туда же, – говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. – Вишь как!.. Э!..» – более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

– Должно быть, на дворе холодно? – сказал он, обращаясь к Чубу.

– Морозец есть, – отвечал Чуб. – А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» – но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

– Дегтем лучше! – сказал голова. – Ну, прощай, Чуб! – и, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

– Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! – произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. – Ай да Солоха! Эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак... да где же тот проклятый мешок?

– Я кинула его в угол, там больше ничего нет, – сказала Оксана.

– Знаю я эти штуки, ничего нет! Подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько... Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее – как святая, как будто и скромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу,

играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма... много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло дальше и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне посреди улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! – подумал кузнец. – Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта:

– Прямо ли ехать к царице?

«Нет, страшно», – подумал кузнец.

– Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел опянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев,

которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

– Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот где увиделись! – сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

– Что там за человек? – спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подале.

– А вы не узнали? – сказал кузнец. – Это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

– А! – сказал тот же запорожец, – это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

– А так, захотелось поглядеть, говорят...

– Что же, земляк, – сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски: – Што, балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

– Губерния знатная! – отвечал он равнодушно. – Нечего сказать, дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

– После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

– К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

– Тебя? – произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. – Что ты будешь там делать? Нет, не можно. – При этом на лице его выразилась значительная мина. – Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.

– Возьмите! – настаивал кузнец. – Проси! – шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

– Возьмем его, в самом деле, братцы!

– Пожалуй, возьмем! – произнесли другие.

– Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! – думал про себя кузнец. – У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

«Что за лестница! – шептал про себя кузнец, – жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!»

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с Младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! – рассуждал он. – Вот, кажется, говорит! кажется, живая! а Дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан^[17]. А голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом^[18]. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, – продолжал он, подходя к двери и щупая замок, – еще большего достойна удивления. Эх какая чистая выделка! Это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...» Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились, и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

– Все ли вы здесь? – спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

– *Та, всі, батько!* – отвечали запорожцы, кланяясь снова.

– Не забудете говорить так, как я вас учил?

– Нет батько, не позабудем.

– Это царь? – спросил кузнец одного из запорожцев.

– Куда тебе царь! Это сам Потемкин, – отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назад. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

– Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

– Встаньте! – прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос.

Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

– Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а на встанем! – закричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно

улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

– Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. – Хорошо ли вас здесь содержат? – продолжала она, подходя ближе.

– *Та спасибі, мамо!* Провиянт дают хороший (хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье), почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

– Помилуй, мамо! Зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слушали, что хочешь *поворотить в карabinеры*; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унижены его руки.

– Чего же хотите вы? – заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

– Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

– Встань! – сказала ласково государыня. – Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится

это простодушие! Вот вам, – продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека^[19] с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, – предмет, достойный остроумного пера вашего!

– Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! – отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

– По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, – продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, – я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

– *Як же, мамо!* Ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, – отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием.

«Хитрый народ! – подумал он сам себе, – верно, недаром он это делает».

– Мы не чернецы, – продолжал запорожец, – а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турещине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

– Боже ты мой, что за украшение! – вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. – Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них, чайтельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*, какие ж должны быть самые ножки? Думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное, – но,

почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решил замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, – он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» – и вдруг очутился за шлагбаумом.

– Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! – лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посередине улицы.

– Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украла? разве я спазила кого, что ко мне не имеют веры? – кричала баба в козацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. – Вот, чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

– Кузнец повесился? Вот тебе на! – сказал голова, выходящий от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

– Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! – отвечала ткачиха. – Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

– Срамница! вишь, чем стала попрекать! – гневно возразила баба с фиолетовым носом. – Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула:

– Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

– Дьяк? – пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синюю китайкой. – Я дам знать дьяка! Кто это говорит – дьяк?

– А вот к кому ходит дьяк! – сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

– Так это ты, сука, – сказала дьячиха, подступая к ткачихе, – так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе.

– Отвяжись от меня, сатана! – говорила, пятясь, ткачиха.

– Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! тьфу!.. – Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

– А, скверная баба! – закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. – Экая мерзость! – повторял он, продолжая обтираться. – Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, – продолжал он, задумавшись, – таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! а я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый – и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать – и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что

выбритыми подбородками, все большею частию в кобенях, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник – как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара^[20]. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда же это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, – постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом

попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

– Помилуй, батько! Не гневись! Вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то брался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его... Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

– Ну, будет с тебя, вставай! Старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

– Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

– *Добре!* Присылай сватов!

– Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

– Погляди, какие я тебе принес черевички! – сказал Вакула. – Те самые, которые носит царица.

– Нет! нет, мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей. – Я и без черевиков... – Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

– Кузнеца Вакулы, – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

– Славно! Славная работа! – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красной краской; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленой краской с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» – и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Леонид Андреев

Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется *жизнью*: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать, как там все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди меняют свою жизнь, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленях, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он по-прежнему будет ходить в гимназию и стоять дома на коленях. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этого он бил товарищей, грубил гимназическому начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только отцу.

Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадь была заполнена карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни».

Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся только голода, ведь мать вовсе перестала кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку.

При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось собираться домой.

– Где полуночишаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила.

Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки, и на безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, терял службу из-за строптивости и пьянства и приводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу, по мере того как пила, она только здоровела и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съезжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феокиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох, как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феокиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, еще до Сашкиного рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил, Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ.

Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосый.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой отложной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударила по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий его отец любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, услышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и пригладив поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой.

Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек была не в силах овладеть охватившим ее восторгом и упорно молча прыгала на одном месте, маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам.

Сашка был угрюм и печален: что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сидел в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего вокруг было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятого восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен, боялся яркого назойливого света и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел.

В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала,

утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, горели нехорошим огнем, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки.

И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась.

Съездившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки плянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене виднелись уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой.

В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокоей борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокости, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но все глубже они волновали его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что

сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скосил с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли

видеть оба – и Сашка, и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя сброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком озябший водовоз.

АНТОН ЧЕХОВ

СВЯТОЙ НОЧЬЮ

Я стоял на берегу Голтвы^[21] и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.

– Как, однако, долго нет парома! – сказал я.

– А пора ему быть, – ответил мне силуэт.

– Ты тоже дожидаясь парома?

– Нет, я так... – зевнул мужик, – люминации дожидаясь. Поехал бы, да, признаться, пяточка на паром нет.

– Я тебе дам пяточок.

– Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пяточок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

– Иероним! Иерони-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

– Христос воскрес! – сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни, и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.

– Иерони-им! – послышался глухой протяжный крик.

– С того берега кричат, – сказал мужик. – Значит, и там нет парама. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, взглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был долгожданный паром. Он подвигался с такой медлительностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.

– Скорей! Иероним! – крикнул мой мужик. – Барин дожидается!

Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

– Отчего так долго? – спросил я, вскакивая на паром.

– Простите Христа ради, – ответил тихо Иероним. – Больше никого нет?

– Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня – значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в

стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была все та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное «ура».

– Как красиво! – сказал я.

– И сказать нельзя, как красиво! – вздохнул Иероним. – Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказал, откуда я.

– Так-с... радостный день нынче... – продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. – Радуетя и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

– А какие, батюшка, у вас скорби?

– Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай...

– Что ж, это Божья воля! – сказал я, поддельваясь под монашеский тон. – Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в Царство Небесное.

– Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более.

– И Писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, – прервал молчание Иероним, – но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

– Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме, и все мне кажется, что

сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, Господи, его душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

– Ваше благородие, а ум какой светлый! – сказал он певучим голосом. – Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрене: «О, любез-наго! о, сладчайшаго Твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!

– Какой дар? – спросил я.

Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно верить тайны, весело засмеялся.

– У него был дар акафисты писать... – сказал он. – Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

– Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!

– А разве акафисты трудно писать? – спросил я.

– Большая трудность... – покрутил головой Иероним. – Тут и мудростью, и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые непонимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самонаименьшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с

«возбранный» или «избранный»... Первый икос завсегда надо начинать с Ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов Творче и Господи сил», в акафисте к Пресвятой Богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суца естеством» и прочее. Везде с Ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высоту, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубину, неудобозримая и ангельскими очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози!»

Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

– Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... – пробормотал он. – Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника суцим...» – сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!» – сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения!» Так плаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!

– Да, в таком случае жаль, что он умер, – сказал я. – Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

– Николай печатал свои акафисты? – спросил я Иеронима.

– Где ж печатать? – вздохнул он. – Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

– С предубеждением к ним относятся?

– Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

– Для чего же он писал?

– Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошел ко мне.

– Мы вроде как бы друзья с ним были, – зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. – Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил всегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам

и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.

– Сейчас запоют Пасхальный канон... – сказал Иероним, – а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!

– А вы разве не будете в церкви?

– Мне нельзя-с... Перевозить нужно...

– Но разве вас не сменяют?

– Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь...

– Вы монах?

– Да-с... то есть я послушник.

Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пяточок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! – думал я. – Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменяют? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... – пели на клиросе, – се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя...»

Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плывал взад и вперед по темной реке и тосковал по своему умершем брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, непонятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело,

как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

– Христос воскрес! Больше никого нет? – спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет тридцати пяти, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.

– Вас еще не сменили? – удивился я.

– Меня-с? – переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. – Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.

Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места.

Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.

Архиерей

I

Под Вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица – и старые, и молодые, и мужские, и женские – походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и – плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили

своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, все – и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие, темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав – это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

– А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, – доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

– Маменька? Когда она приехала?

– Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

– Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О Господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

– Они велели, ваше преосвященство, доложить, – продолжал келейник, – что придут завтра. С ними девочка, должно, внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

– Который теперь час?

– Двенадцатый в начале.

– Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как

уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет, и – как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, бляеные овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном – о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смиренный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбранил ее: «Ах ты, ослица Иегудиилова!», и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная – *betula kinderbalsamica secuta*^[22]. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в

одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесечно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

– Моя мать приехала... – вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему семьдесят лет, живет он в монастыре в шестнадцати верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

– Отец Сисой! – позвал преосвященный.

Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

– Не спится мне, – сказал преосвященный, садясь. – Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

– Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: «О Господи, прости меня грешного!»

– У Еракина нынче электричество зажигали, – сказал он. – Не ндравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

– Не ндравится! – повторил он, уходя. – Не ндравится, Бог с ним совсем!

II

На другой день, в Вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и наконец поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светило на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

– Уже девять лет, как мы не видались, – говорила старуха, – а вчера в монастыре, как поглядела на вас – Господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородка длинней стала. Царица Небесная, Матушка! И вчерась во всюнощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему «ты» или «вы», смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя не мигая глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и

его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...

– У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, – рассказывала она, – вот эта, Катя, самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять, отец Иван, захворал, это, и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

– А как Никанор? – спросил преосвященный про своего старшего брата.

– Ничего, слава Богу. Хоть и ничего, а, благодарить Бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

– Николаша мертвецов режет, – сказала Катя и пролила воду себе на колени.

– Сиди, деточка, смирно, – заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. – Кушай с молитвой.

– Сколько времени мы не видались! – сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. – Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

– Благодарим вас.

– Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

– Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить...

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из

церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

– У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все равно что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

– Значит, Богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это...

И то и дело «чаю напившись», или «напимшись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было тридцать два года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить все и уехать за границу.

– А потом что? – спросил Сисой в соседней комнате.

– А потом чай пили... – ответила Марья Тимофеевна.

– Батюшка, у вас борода зеленая! – проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

– Господи боже мой, наказание с этой девочкой! – проговорил громко Сисой, рассердившись. – Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит

викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

– Эва, – удивился он, – вы уже спите, преосвященнейший?

– Что такое?

– Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

– У меня жар... – проговорил преосвященный и сел. – В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

– Вот так... вот так... – говорил он. – Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того – как его? – протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе... Вот так... Не ндравится!

III

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проводывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы, писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о Боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была нелегка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благодичные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день

душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, – с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователю, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

– Дай Бог, чтоб! – говорил он, уходя. – Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полнощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда так же пели

про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! – думал он, прислушиваясь к пению. – Как хорошо!»

IV

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног^[23]. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисюю, а тот угрюмо, недовольным голосом отвечал: «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец?

Тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

– Чистое наказание с этой девочкой, Господи, прости меня грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

– Ты, Катя? – спросил он. – Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?

– Я не слышу, – ответила Катя и прислушалась.

– Вот сейчас кто-то прошел.

– Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

– Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? – спросил он, помолчав.

– Да. Учится.

– А он добрый?

– Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

– А отец твой от какой болезни умер?

– Папаша были слабые и худые, худые, и вдруг – горло. И я тогда захворала, и брат Федя – у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

– Ваше преосвященство, – проговорила она тонким голосом, уже горько плача, – дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

– Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит Светлое Христово Воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

– Не покушаете ли супчику?

– Нет, благодарю... – ответил он. – Не хочется.

– А вы, похоже, нездоровы... как я попляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день – и боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, Святая не за горами, отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, – пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным... Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

– Ваше преосвященство! – окликнул он.

– Что?

– Лошади поданы, пора к Страстям Господним.

– Который час?

– Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати Евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое Евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое Евангелие «Ныне прославися Сын Человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор – одному Богу известно.

Отец его был дьякон, дед – священник, прадед – дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в

служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое Евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает...

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

– Вы уже легли, преосвященнейший? – спросил он. – А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не нравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога... Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

– Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

– Мне бы потолковать с вами... все никак не соберусь, – проговорил преосвященный тихо, через силу. – Я ведь тут никого и ничего не знаю...

– До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

– Какой я архиерей? – продолжал тихо преосвященный. – Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит все это... давит...

– Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал:

– Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!»

Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

– Павлуша, голубчик, – заговорила она, – родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

– Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! – говорила старуха. – Что с тобой? Родной мой!

– Не беспокойте владыку, – проговорил Сисой сердито, проходя через комнату. – Пушай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, невероятно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках – одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

Письмо

Благочинный отец Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда наконец уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость, отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик шестидесяти пяти лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что отец Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине... Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность – в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованны и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

– Значит, вы нынче не поедете к себе домой? – спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

Отец Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

– Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

– Так... – зевнул благочинный. – А вы где остановились?

– У Зявкина.

Отец Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить Пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде, чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя.

Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:

– Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне... рюмочку водочки!

– Не время теперь пить водку, – строго сказал благочинный. – Стыд надо иметь.

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

– Бог даст, завтра выпьем, – сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. – Все хорошо вовремя.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы спадить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже отцу Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полаты у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь отец Анастасий, это – как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

– Отец Федор, вы не отдыхаете? – спросил из передней бас.

– Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во все темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

– Что скажешь хорошего? – спросил благочинный.

– Да что хорошего? – ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: – Малые дети – малое горе, большие дети – большое горе. Тут такая история, отец Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

– Нынче Николай Матвеич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

– Что же он тебе рассказывал?

– Встревожил, Бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться... «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну, и слава Богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В Великий пост-то индейку? А?

– Удивительного мало, – сказал благочинный, насмешливо щуря глаза.

И, заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище Закон Божий:

– Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо отца Федора и сказал:

– Дальше – больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сынок с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире заместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчаная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

– Стало быть, в целомудрии живут! – захихикал отец Анастасий, сипло кашляя. – Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В воспитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе... (Анастасий закашлялся.)

– Не суйтесь, отец Анастасий, – строго сказал благочинный.

– Николай Матвеич и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? – продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. – А он ему: это, говорит, моя

жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. Отец Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению отца Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

– Что же ты хочешь? – спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. – Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

– Да что же я посеял, отец Федор? – тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

– А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх Божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

– Да разве я не наставлял, отец Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и Бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, отец Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «Ходи в церковь», а он: «Зачем ходить?»

Станешь ему объяснять, а он: «Почему? Зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Все на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничего же не знаете, папаша».

Отец Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:

– Не суйтесь, отец Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. Отцу Федору стало жаль его.

– Виноват ты, дьякон, виноват, – сказал он, но уже не так строго и горячо. – Умел родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

– А ведь мне же за него отвечать придется!

– То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благочинный и зевнул, и вздохнул в одно и то же время, и спросил:

– Кто «Деяния» читает?

– Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:

– Отец Федор, что же мне теперь делать?

– Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.

– Ничего я не знаю, отец Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, отец Федор!

– Напиши ему письмо.

– Что же я ему писать буду?

– А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь – исполнишь свой долг и успокоишься.

– Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «почему? зачем? почему это грех?»

Отец Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.

– Почему? Зачем? Почему это грех? – визгливо заговорил он. – Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие Божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, – Анастасий хлопнул себя по лбу, – а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

– Не могу я ему писать! – вздохнул дьякон.

– Ты не можешь, так кто же может?

– Отец Федор! – сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. – Я человек необразованный, слабоумный, вас же Господь наделил разумом и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что...

– Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

– Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

– Ну, пиши... Христос воскрес, любезный сын... знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далее в скобках... а из какого источника, тебя это не касается... скобка... Написал?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни с Божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское великолепие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей гибели вижу

я в твоём неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо...

Все письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

– Дар, истинно дар! – сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. – Пошлет же Господь такое дарование! А? Мать Царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас Господи!

Отец Анастасий тоже пришел в восторг.

– Без дара так не напишешь! – сказал он, вставая и шевеля пальцами. – Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, отец Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление, и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснялся сказать ему:

– Ну, дьякон, ступай с Богом. Я с полчасика на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звездами.

В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

– Сколько времени он диктовал? – изумлялся дьякон. – Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

– Образование! – вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. – Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

– А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает, и по-гречески знает... А Петруха, Петруха! – вдруг вспомнил дьякон. – Ну, теперь он поче-

ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость, и добродушие.

– Петр в переводе значит «камень», – говорил он, подходя к своему дому. – Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости Господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит... к шутам ее на пасеку!

– А может, не она его держит, а он ее?

– Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

– Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!

– А что? – испугался дьякон.

– Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, Бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

– Как же так прощать? – спросил он. – Ведь я же за него Богу отвечать буду!

– Хоть и так, а все же прости. Право! А Бог за твою доброту и тебя простит.

– Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

– Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно...

Дьякон был вдов и жил в маленьком, трехконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходявшая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. Отец Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

– Да, скоро разговляться, – сказал он. – Да... Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало... рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, – зашептал он, косясь на дверь, – что старушка... не услышит... ни-ни...

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

– Ну, письмо-о! – сказал он. – И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило... во!

– Знаешь, дьякон? Не посылай! – сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. – Прости, Бог с ним! Я тебе... вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди: наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я... я, братушка, выпью... Последняя... Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почу-увствует! Я, брат... я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил, как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко... да!

Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

– Беда, дьякон, – вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить. – Беда! Во гресех роди мя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру... Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью... Я...

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: все это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь.

Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

– Не посылай! – сказал тот, махнув кистью руки.

– Нет, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на ум наставит. Не лишнее...

Дьякон достал из стола конверт, но прежде, чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говоровские дочки от него без ума. Военскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

Шампанское (рассказ проходимца)

В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на двадцать верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жида подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь, как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид заброшенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным покоем – этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, – наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром.

На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще, прескучнейшая жизнь.

Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня

так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками.

Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабел ли я от водки или же бутылка была слишком влажна, но только помню, когда пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцем.

– Ну, с Новым годом, с новым счастьем! – сказал я, наливая два стакана. – Пей!

Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас.

– Ты уронил бутылку? – спросила она.

– Да, уронил. Ну, так что же из этого?

– Нехорошо, – сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнея. – Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе.

– Какая ты баба! – вздохнул я. – Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей.

– Дай бог, чтоб я бредила, но... непременно случится что-нибудь! Вот увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрассудков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел.

На дворе во всей своей холодной, нелюдистой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего-то ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался белой земли, освещая все: сугробы, насыпь... Было тихо.

Я шел вдоль насыпи.

«Глупая женщина! – думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами. – Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Те несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?»

Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество. Я долго глядел на него.

«Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок, – продолжал я думать. – Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка.

Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться?»

Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли.

«Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? – спрашивал я себя. – И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще был

мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность... Все гибнет, как сор, и мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного».

Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Пройдя версты две, я вернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетничают перед самими собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: «Что же может случиться недоброе?»

«Да, что же случится? – спрашивал я себя, возвращаясь. – Кажется, все пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забежал во двор полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблял на своем веку. Вот разве только преступником никогда не был, но на преступление я, кажется, неспособен, суда же не боюсь».

Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда.

У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и все лицо дышало удовольствием.

– А у нас новость! – зашептала она. – Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук: у нас гостья!

– Какая гостья?

– Сейчас с поездом приехала тетя Наталья Петровна.

– Какая Наталья Петровна?

– Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро:

– Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорыч в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только три дня у нас проживет, пока не получит письма от своего брата.

Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота дядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жен в частности, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам, и проч. Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с «тетей».

За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван... кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного. А что гостя была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой – порядочной женщиной... Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я все понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента.

– А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек! – сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь.

– А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! – сказал я.

Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина, и от присутствия женщины. Вы помните романс?

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
Как люблю я вас,

Как боюсь я вас!

Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романса:

Знать, увидел вас
Я не в добрый час...

Все полетело к черту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу.

Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?

Николай Лесков

Фигура

Глава первая

Когда я еще обучался в Киеве и даже не мечтал заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей – старушки, их тетки, – тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист^[24] Дмитрий Петрович Журавский^[25], я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек по фамилии Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет речь.

Глава вторая

Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства с ним был возрастом лет около шестидесяти, но мог похвастать еще значительной силой и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение; волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды – як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов – как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокой, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его был смелым, умным и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, в предместье Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел вместе с молодой и чрезвычайно красивой крестьянкой Христей. Фигура все делал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном

порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засеивал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своей телегой в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гарбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим качеством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда весом.

Однако ж и огурцы, и бураки, и капуста – все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь», – то есть лучше его ни у кого не достанешь, – но он не любил продавать перекупкам, «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылком, чтобы забрать товар у Фигуры, – он, бывало, это сразу же понимает и на вопрос «почем копа» – отвечает: «По деньгам, але тильки шкода, що не для твоей милости».

Если же подсылный станет уверять, что он простой человек и торгует «для себе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему: «Эге! Ну, не юлы – бо не покуришь!» – и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того – почему он так «опростывся» – не знали и узнать этого не пытались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

Глава третья

Домиком Фигуры была обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда

растительную и молочную, но самую простую – крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая ребенка. Дитя это было прехорошенькой девочкой по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочка», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:

– Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як Бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, – а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродия не знаю. Але як кто хоче – нехай так и личе^[26]: як моя – то нехай моя, – мени все едино.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину»^[27] Фигуры без всяких сомнений.

Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

– А вам хиба завидно?

Зато же и Фигура, и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб – словом, ничего, имеющего живого происхождения.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмехался и говорил:

– Дуры!

Глава четвертая

Отношения у Христи с Фигурой были премилые, но такие, что ничего толком не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура подходящими к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину – и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть

хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

– Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть, як слид по закону». В этом была «ее присяга» – ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать – красавица.

Глава пятая

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сыротиною», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором^[28], – но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел – «бо вони з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось не до шмыги» (то есть не идет ему).

– Бог их церковный знае: они вже може яки ассессоры, чи якись таки яки советники, а мы, як и з рыла бачите – из простых свиной.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такой оригинальной личностью, что даже снимал всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

Глава шестая

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами – Михайловским и Софийским, – и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я сбегал на такие дни к Фигуре. Там царили тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

– И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу и до сих пор боюсь, как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите – это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего – хоть бы и народное! У Исаии пророка читаем: «Праздники ваши ненавидит душа моя»^[29] – и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

– А можно узнать, что это такое было?

– Я думаю, что можно. Видите... это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, – тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая – вторая. Я служил под Сакеном... Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще все акафисты читает^[30].

Великий, Бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет – все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел... Те, которые умели, – у них хорошо выходило... И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот как это все случилось.

Глава седьмая

Полк наш стоял на юге, в городе, – тут же был и штаб того самого Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом под

самое Светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в Чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мной мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра... но самое главное и драгоценнейшее – мати... мати моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати – предобрая и пренепорочная – добром окрытая и в добре повитая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, – даже ни мяса, ни рыбы не кушала из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела. «Этих, – говорила, – я живых видела: они мне знакомые – не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, – говорит, – с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну и хорошо, – отвечала она, – як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь «поныряющие в дома и прельщающие женища, всегда учащися и николи же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно – непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучаю по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, неодетых, невычесанных, – всех сама у печки перемоеет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет... Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил, и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим?.. Все для смертного бою... А, впрочем, что я так скучаю... Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чины заслуживаю, а вон солдат – он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, – ему куда для сравнения тяжелее... а ведь живет же, терпит и не куксится...

Бодрости себе надо поддаться – все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе...» Ну вот, солдатам хуже, чем мне...

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою – разговееюсь с ними на мои гроши!

Понравилось.

Глава восьмая

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахара, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на все, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не осталось уж ничего.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар – и очень занялся тем, по сколько кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди – с ними никто не нежничает, им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь – скажу: «Ребята! Христос воскрес!» – и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда, пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты, и я – часовые наружи, а казаки – трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится, – скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум... дерутся. Я – туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину... Что вы смотрите? Да – настоящую пощечину, и трах – с одного плеча эполета прочь!

Что такое? Кто меня бьет?

И главное дело – темно.

– Ребята! – кричу. – Братцы! Что это делается?

Солдаты узнали мой голос и отвечают:

– Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. Дерутся.

– Кто же это на меня бросился?

– И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть – в ногах лежит без памяти, а двух там на погребнице вяжут. Рубиться хотели.

Глава девятая

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как затвердил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято.

«Тебя ударили – так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку – тогда ничего, тогда это тебе честь...» Убить его, этого казака, я должен!.. зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь – заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! За это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! Это так Бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось знаменье. Такое, знаете, крепкое несомненное знаменье, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а Бог-то веки веков будет всей Вселенной командовать! А если Он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и Ты простил... а я что пред Тобою... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть Твой: я простил! Я Твой...

Вот только плакать хочется!.. Плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже – понимаете... я уже совсем не от обиды...

Солдаты говорят:

– Мы его убьем!

– Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать!

Спрашиваю старшего: куда его дели?

– Мы, – говорит, – ему руки связали и в погреб его бросили.

– Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

– Ваше благородие!.. Я несчастный человек!..

– Конечно, – говорю, – несчастный.

– Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

– Встань! – говорю.

– Не могу встать, я еще в исступлении...

– Отчего ты в исступлении?

– Я непитущий, а меня напоили... У меня дома жена молодая и детки... и отцы старички старые... Что я наделал?..

– Кто тебя упоил?

– Товарищи, ваше благородие, – заставили за живых и за мертвых в перезвон пить... Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить – выпить для Светлого Христова Воскресения, в самый первый звон, – чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалося». Один товарищ поднес ему чару, а другой – другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел... Стонет:

– Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. Женка несчастная!..

Глава десятая

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и – вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло, рассуждать опять

начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался – сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример...

И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет... какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть... я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том Ему совсем напротив над людьми делать...

«Нет, – думаю, – этого нельзя: я спутался – лучше я отстраню от себя это пока... хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» – но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не Его – я Ему уж чужой стал... Я этого не хочу... не желаю от Него увольняться. А зачем же я делаю как те, кому с Ним тяжело было... который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без Него-то, конечно, полегче... Без Него, пожалуй, со всеми уживешься... ко всем подделаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил... Я Его не попрошу уйти, а еще позову... Приди – ближе! И зачитал: «Христе, Свете истинный, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир...»

Между солдатами вдруг внимание... кто-то и повторил:

– «Всякого человека!»

– Да, – говорю, – «всякого человека, грядущего в мир», – и такой смысл придаю, что Он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом воззвал: – «Да знаменуется на нас, грешных, свет Твоего лица!»

– «Да знаменуется!.. Да знаменуется!» – враз, одним дыханием продохнули солдаты...

Все содрогнулись... все всхлипывают... все неприступный свет узрели и к нему сунулись...

– Братцы! – говорю. – Будем молчать!

Враз все поняли.

– Язык пусть нам отсохнет, – отвечают, – ничего не скажем.

– Ну, – я говорю, – значит, Христос воскрес! – и поцеловал первым побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться.

«Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»

И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду Бога молить... священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».

– Бог с тобой, – говорю, – еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

– Нет, – плачет, – я, ваше благородие, и водки не буду пить и пойду к батюшке...

– Ну, как знаешь.

Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.

Глава одиннадцатая

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

– Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

– Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но Бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

– Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания... И вы это считаете благополучным? Да у вас что же – нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

– Господин полковник, – говорю, – казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.

– Пьянство – не оправдание!

– Я, – говорю, – не считаю за оправдание, пьянство – пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

– Вы не имели права прощать!

– Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

– Вы после этого не можете более оставаться на службе.

– Я готов выйти.

– Да, подавайте в отставку.

– Слушаю-с.

– Мне вас жалко, но поступок ваш непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на Того, Кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

– Что, – говорит, – вы мне с христианством! Ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйста к Сакену; он сам с вами поговорит – ему и рассказывайте про христианство: он церковное Писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться... Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

– Слушаю-с, – говорю, – господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился, – все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.

Командир рукой махнул.

– Говорите, что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает – это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела, когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а

полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет Московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом Московским – киевского ректора (Иннокентия Борисова)^[31]. Они только кажутся хорошими, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое – самого смиренного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

Глава двенадцатая

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение... Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения... Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на следующий день встал рано и явился утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор^[32], а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет – я молчу и чувствую, что сон меня клонит, – совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдет до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось – Боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали – иные и сами тоже были богомольны, другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.

На мою долю как раз такое счастье и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:

– Вы хорошо попали, нынче его обо всем можно просить – он теперь намолившись.

Я любопытствовал:

– Почему это заметно?

Опытный отвечает:

– Разве не видите – у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки... как будто свет сияет... Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.

«Ну, – думаю, – тут будет развязка». И сон прошел.

Глава тринадцатая

В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

– Ваш полковой командир за вас заступает. Он вас даже хвалит – говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

– Не просите! Почему же не просите?

– Я знаю, что этого оставить нельзя, и не прошу о невозможном.

– Вы горды!

– Никак нет.

– Почему же вы так говорите – «о невозможном»? Французский дух! Гордость! У Бога все возможно! Гордость!

– Во мне нет гордости.

– Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. Своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу.

Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя... Что это вам пришла за фантазия!..

– Казак, – говорю, – по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

– А вы ему это простили?

– Да, я не мог не простить!..

– На каком же основании?

– Так, по влиянию сердца.

– Гм!.. Сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце... Вы по крайней мере раскаиваетесь?

– Я не мог иначе.

– Значит, даже и не каетесь?

– Нет.

– И не жалеете?

– О нем я жалею, а о себе нет.

– И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?

– Во второй раз, я думаю, даже легче будет.

– Вон как!.. Вон как у нас!.. Солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! Не смей этим шутить!» – и молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

– А где же у вас гордость?

– Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.

– Вы дворянин?

– Я из дворян.

– И что же, этой... noblesse oblige... [33] дворянской гордости у вас тоже нет?

– Тоже нет.

– Дворянин без всякой гордости?

Я молчал, а сам думал: «Ну да, ну да, дворянин, и без всякой гордости, – ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстаёт – говорит:

– Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой – о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

– Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»... [34]

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна Богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

– Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю – сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

– Еще раз!

Я опять перекрестился.

– И еще... до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Тогда он подошел ко мне, сам меня перекрестил и прошептал:

– Не надо про сатану! Вы ведь православный?

– Православный.

– За вас восприемники у купели отrekliсь от сатаны... и от гордыни, и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

– И еще!

Я еще плюнул.

– Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

– Вот так!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете делать в отставке?

– Не знаю еще.

– У вас есть состояние?

– Нет.

– Нехорошо! Родственники со связями есть?

– Тоже нет.

– Скверно! На кого же вы надеетесь?

– Не на князей и не на сынов человеческих [35]: воробей не пропадает у Бога, и я не пропаду.

– Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

– Никак нет – не хочу.

– Отчего? Я могу написать Иннокентию.

– Я не чувствую призвания в монахи.

– Чего же вы хотите?

– Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе; я это сделал просто...

– Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! Я вам потому и говорю: идите в монахи.

– Нет, я в монахи не могу, и спасти свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

– Наказание бывает человеку в пользу. «Любая наказует»^[36]. Вы не дочитали... А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?^[37]

– Нет, благодарю покорно.

– Это отчего?

– Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить... я туда неспособен.

– Ну, в провианты?

– Тоже не гожусь.

– Ну, в цейхвартеры!^[38] Там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто загипнотизированный стал и спать хочу до невозможности.

А Сакен стоит передо мною – и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одной рукой пальцы другой руки, вычисляет:

– В Писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

– Никак нет, – говорю, – я ни в кого не влюблен.

– Жениться не намерены?

– Нет.

– Отчего?

– У меня слабый характер.

– Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы – вы боитесь женщин... да?

- Некоторых боюсь.
- И хорошо делаете! Женщины суетны и... есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.
- Я сам боюсь быть обманщиком.
- То есть... Как?.. Для чего?
- Я не надеюсь сделать женщину счастливой.
- Почему? Боитесь несходства характеров?
- Да, – говорю, – женщина может не одобрять то, что я считаю хорошим, и наоборот.
- А вы ей докажете.
- Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.
- А вы и споров не любите?
- Терпеть не могу.
- Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?!
Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.
- Не думаю.
- Почему? Почему не думаете-то? Почему?
- Призвания нет.
- А вот вы и ошибаетесь – прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? Мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго...
- Я мяса совсем не ем.
- А зато у них прекрасные рыбы.
- Я и рыбы не ем.
- Как, и рыбы не едите? Отчего?
- Мне неприятно.
- Отчего же это может быть неприятно – рыбу есть?
- Должно быть, врожденное – моя мать не ела тел убитых животных и рыбу тоже не ела.
- Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?
- Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно есть!
- Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! Очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!
- Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!

– Нет, пойдете – таких, которые и рыбу не едят, очень мало! Вы схимник! Я сейчас напишу.

– Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

Глава четырнадцатая

Сакен наморщился.

– Это, – говорит, – вы Библии начитались, а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна – это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.

«Фу ты господи! – думаю. – Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

– Ваше сиятельство! Я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.

– Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!

Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том, когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать...

А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:

– Милый друг! Вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..

– Да, – отвечаю, – непонятно!

Чувствую, что мне теперь все равно, – что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, – и потому инстинктивно ответил:

– Непонятно.

– Ну так помолимся, – говорит, – вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае... Много раз я перед ним упал в недоумении и когда вставал – мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон... Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая Тебе...»

А дальше я уже ничего не слышал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра – так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру Земли.

Чувствую что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят – клокочут зиждящие силы»^[39]. А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.

Что это такое за место? – уснул и запомнил.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется...» Потрогал его... ничего – парной, теплый, и смотрю – и он просыпается и шевелится... И тоже сел на ковре и на меня смотрит... Потом говорит:

– Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

– Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

– Перекрестись!

Я перекрестился.

– Это мы с вами вместе были?

– Да-с.

– Каково!

Я промолчал.

– Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:

– Видели, какая святыня!

– Где?

– В раю!

– В раю? Нет, – говорю, – я в раю не был и ничего не видал.

– Как не видал! Ведь мы вместе летали... Туда... вверх!

Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.

– Как вниз!

– Точно так.

– Вниз?

– Точно так.

– Внизу ад!
– Не видал.
– И ада не видал?
– Не видал.
– Так какой же дурак тебя сюда пустил?
– Граф Остен-Сакен.
– Это я граф Остен-Сакен.
– Теперь, – говорю, – вижу.
– А до сих пор и этого не видал?
– Прошу прощения, – говорю, – мне кажется, будто я спал.
– Ты спал!
– Точно так.
– Ну так пошел вон!
– Слушаю, – говорю, – но только здесь темно – я не знаю, как выйти.

Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:

– Zum Teufel!^[40]

Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

Глава пятнадцатая

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже – это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, – и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никакой службы: ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек не может быть сам собой, он должен сначала не обещать, а потом исполнять, как обещал, а я вижу, что я порченный, что я ничего обещать не могу, да и не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы...^[41] Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою... я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое...

Перебирал я, перебирал, что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.

Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

– Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались.

Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

– Как же, – отвечаю, – мы молились.

– Вместе в блаженные селения парили?..

– То есть... как это вам доложить...

– Да, вы – большой политик! Знаете, вы успеха достигли – вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

– Я, – говорю, – пенсии не выслужил.

– Ну, уж это теперь расчислять поздно – уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мной тоже хорошо простились.

– Ничего, – говорили, – мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил... Невелика господка, да добра... Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты... Бидна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел... Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки ийти.

А я вызверывся да говорю ей:

– Чи ты с самага роду така дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от Бога показано, – а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.

Она встала – подобрала Катрю в тряпочки и пишла – каже:

– Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сиём, а чого нэма, о том не скучаем, – бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятих или в самом начале шестидесятих годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.

Жемчужное ожерелье

Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский, – и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе или «на сдаточных» – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ вдесятеро иссрамит, – так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша прееет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.

– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком

тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая надуманность и однообразие.

– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который зачастую умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать. – Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

– А что же – я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

– Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

– О, будьте уверены – я расскажу вам о происшествии самом истиннейшем, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженной доброй репутацией.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

– Да, – отвечал тот, – вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Три года тому назад брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила – пристал ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогой женой у своей лампы. Жените!»

– Да постой же, – говорим мы, – все это прекрасно, и пусть будет по-твоему – Господь тебя благослови, – женись, но ведь надо же время, надо и найти хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже увидел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

– Что же – времени довольно: две недели Святков венчаться нельзя, – вы меня в это время сосватайте, а на Крещение вечерком мы обвенчаемся и уедем.

– Эх, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки. (Слова «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женой и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело-то созрело. Жена говорит мне:

– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и, пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

– Что это такое я уважал?

– Безотчетные симпатии, влечения сердца.

– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это – что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? Она именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я. – Так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству – мы ее замечаем и видим, едва она только зародиться успеваает.

– Вы, – говорю, – все противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек и Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

– Как! – закричал я, себя не помня. – Они уже и слово друг другу дали?

– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним – он, наверно, понравится старикам, и потом...

– Что же, что потом?

– Потом – пускай как знают; ты только не мешай.

– Хорошо, – говорю, – хорошо – очень рад в подобную глупость не мешаться.

– Глупости никакой не будет.

– Прекрасно.

– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасной девушкой, из

которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, о чем мы с тобою не раз удивлялись: вспомни, что у Тургенева все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал – и Маше ничего не даст.

– Почему знать? Он ее больше всех любит.

– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, начало положил тем, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего брата, который с детства страдал самой утрированной деликатностью, он и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?

– Ну, матушка, это ты дурачишься.

– Нет, не дурачусь.

– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке – вот и вся недолга.

– Ах, вот это-то!

– Ну, конечно.

– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – говорит, – никогда не думала, что, по-твоему, получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

– Я говорю вовсе не о себе...

– Нет, отчего же?..

– Ну это странно, *ma chere!*^[42]

– Да отчего же странно?

– Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

– Ну думал.

– Нет – совсем и не думал.

– Ну воображал.

- Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!
- Да чего же ты кричишь?!
- Я не кричу.
- И «черти»... «черт»... Что это такое?
- Да потому, что ты меня из терпения выводишь.
- Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...
- Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как Бог, окончил – как свинья». Я принял обиженный вид – потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачав головой, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, закрывая за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь и сказал:

- Это свинство!
- А она отвечает:
- Mersi, мой милый муж.

Глава третья

Черт знает что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непереносимо! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и вправе он сам судить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с него, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разобрались, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь – удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и нашу вину, и те драгоценные ручки, которые другому захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я более так говорить не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю – в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

– Где же барыня?

– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! – думаю. – Значит, она своего упорства не оставляет – она таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи^[43], а мой брат – воплощенная честность и деликатность. Тем лучше – пусть он их надует – и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена с братом возвратились в два часа и оба превеселые. Жена говорит мне:

– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином, а мы у Васильевых ужинали.

– Нет, – говорю, – покорно благодарю.

– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

– Вот как!

– Да, мы превесело провели время и пили шампанское.

– Счастливицы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пошла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощения. И даже если бы я был свободен и имел время и желание вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова бы не вытерпел – во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какого-нибудь скандала; но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и, когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?

– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.

– Ага! Так вот уже как! Поздравляю.

– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобой, но он торопится со своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.

– Ты, кажется, остришь?

– Нисколько я не острою.

– Или иронизируешь?

– И не иронизирую.

– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то будут... Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать – вернее.

– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а по существу ведь это

все вздор.

– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

– И врешь.

– Как вру?!

– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

– А за что же?

– За то, что я тебе понравилась.

– Как, ты отрицаешь в себе достоинства?

– Ничуть – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом.

Для чего же я это делал?

– Чтобы смотреть на меня.

– Неправда – я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

– Что за пустой смех!

– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал и изучать не мог.

– Это почему?

– Сказать?

– Сделай милость, скажи!

– Потому что ты был в меня влюблен.

– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

– Мешало.

– Нет, не мешало.

– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезное. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы

на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением.

– Ну... однако, – говорю, – ты уж это как-то... очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

– Очень рад, – говорю.

И мы поехали.

Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

Долго ли в таком настроении время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей – и мы от людей не отстали.

Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«О-го-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, – назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья.

Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штука с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста *avec fleches d'Amour*^[44], но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод – *d'eau douce*^[45], тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила *perle d'eau douce*, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего *avec fleches d'Amour*, а подарю вам хладнокровный

«лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещения перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, нанятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожидаемые радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое еще с тобою случилось?

– А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

– Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

– Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».

Жена моя так и села.

– Вот, – говорит, – негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

– Ты неправ: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? Я ведь

приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей – не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, обернувшись лицом к окну, но не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиной стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю: «Вот это мило! Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».

«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни – помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.

«Как же, – говорю, – получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре – я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь посмотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет – смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг фальшивый?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить...»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так...»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»

«Да – не хочу, но не только от этого».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное – муж...»

«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и кроме того... муж, который желает быть счастливым, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слышал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло, что правильно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?

– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю: «Знаете, Николай Иванович, – это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее – нет... Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, – оставьте у себя эти деньги, и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... не надо!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановившись против двери спальни, крикнул: «Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, – говорит, – тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».

«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что ты даришь...»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.

«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, “княгиня” – тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива... за сестер!..»

«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг – фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, – не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам и весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на

его невымышленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа.

Неразменный рубль

Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, сиречь, такой рубль, который, сколько раз его ни отдавай, он все-таки опять появляется целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественской ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, сжать кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полуночью, а в самую полночь придет кто-то и станет сторговывать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль – ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать больше, но надо настойчиво требовать рубль, и, когда наконец этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный – то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда каждый раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать подобным путем. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Как-то раз, во времена моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим,

добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь страшнее всех, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно закупить прекрасных вещей за тот беспереводный рубль! Чего бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокой, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще – «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и расскажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня не обманула: ночь пролетела как одно мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткой в своем большом чепце с рюшевыми мармотками^[46] и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один – совершенно один – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, – говорю, – я уже все знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но ежели ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головой и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в

ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком случае идем. – И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвертая

Погода была хорошая – умеренный морозец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучей, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулков, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребяташки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душой в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулков, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребяташки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и, кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

«Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее».

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.

– Невесте следует принарядиться, – сказала бабушка. – Это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сладостей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийти по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше – я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может купить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время – откуда ни возьмись – ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

– Да, если эта будет вещь ненужная – так я ее, разумеется, не куплю.

– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас более никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новой книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся – и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу стать больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: – Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блеснуть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка – есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделав кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя

глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что ненужные стекляшки, и – рубль твой растаял. Этому и следовало случиться, и я очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедem в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоem сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю.

И вдруг мы с нею обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце наполнилось такою радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастье, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

Александр Куприн

Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, со своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблок и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

– Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, улицы становились все малоллюднее и темнее. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, раздумянные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же

время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну а ты?

– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел,

и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Все равно сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов,

отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подымают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без

малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливей и пристальней заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок.

Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова^[47]».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что-то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невооратимо.

Тапер

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

– Mesdames^[48], а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не мое дело... У нас постоянно, постоянно так, – горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты – сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое Рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии,

равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного – круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слышал об их существовании, – и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиних сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни заканчивали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфичу с

просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфич сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфич сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно»^[49] и «брютально»^[50], и потому равнодушно «иньорировала»^[51] его, развлекаясь визитами к архиереям^[52] и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра – эlegantный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе^[53], а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезаклаживал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансенъора^[54]. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно.

Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину^[55], скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады дурного тона».

Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое лучшее – купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году^[56] с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь

устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышнинных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее никто и не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, – сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. – Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблок. Оказалось, что две большие семьи – Лыковых и Масловских – столкнулись случайно, одновременно подъехав к

воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

– Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного... А потом я ее сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, – насмешливо возразила Лидия. – Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйста-с. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйста.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня Бог – в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальчика, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один

и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища^[57]. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

– Да... я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. – Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

– Ах нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и униженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадрили?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье?^[58] – продолжала дразнить его Лидия.

– Laissez donc, Lidie, vous etes impossible^[59], – строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, mademoiselle, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

– Воображаю! – делано, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: – Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагреневых нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

– Угодно вам «Rapsodie Hongroise»^[60] № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

– Это тапер, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?

– Тапер? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите, пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

– Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, покрасневший и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в зал вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над

ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие *того*, властного и необыкновенного

человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, – возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте – в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.

– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн^[61]. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

Начальница тяги

Самый правдоподобный святочный рассказ

Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилии, но вот его приблизительный портрет: высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна; бритое, точно у актера, лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять; седеющая грива, львиная голова, настоящий рот оратора – рупор, самой природой как будто бы созданный для страстных, потрясающих слов.

Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренно расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминаниям.

– Ну, конечно, господа, – сказал он, – так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться... А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем... нет, виноват, вчетвером... нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали Рождество... Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех святочных рассказов. Видите ли, жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла...

Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину, в окрестностях Сиверской. Наутро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу – настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек – милых, свободных, ничем не стесненных, – таких, с которыми себя чувствуешь в сто раз лучше, чем со взрослыми, и сам, незаметно для себя, становишься мальчуганом двенадцати лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного.

А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас – теперь он мировая известность – и третий, ныне покойник, – он умер четыре года тому назад или, вернее, не умер, а его съела служебная карьера.

Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу, – едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге.

По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер^[62]. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички, даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уж с оттенком недружелюбия. Например, один чиновник ехал явно по бесплатному билету; я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию. Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс.

Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет тридцати – тридцати двух, прехорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль.

– Куда вы лезете, разве вы не видите, что это купе занято?

Ах, боже мой, все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, а особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем полвагона с надписью:

«Дамское отделение», в то время как в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика – сейчас же крики, скандал, «полное право» и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее «мужское отделение», стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переносу дамского общества» – и завести на целую ночь утомительную трескотню, с визгом, игривым хохотом, ахами, ломаньем и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвращением фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали!» Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут, но, как и всегда, в пятисотый раз пробовали тронуть сердитую даму.

Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал:

– Прелестная синьора... нам только три станции... если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног.

Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один?.. Может, она и смилостивилась бы. Но нас было трое. И, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжение двух минут она успела нас назвать: железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже... простите, барыня... поставщиками живого товара в Константинополь.

Потом, в своем гневе, она закричала:

– Кондуктор!

Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно, в эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам.

Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить:

– Сударыня, вы едете одни... Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот портплед, наконец, этот торт и банки с вареньем?

– Не знаю, – сухо ответила она и отвернулась к окну.

– Сударыня, – продолжал я тоном рабской мольбы, – вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости... Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь три станции... Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки? Ну, хотя бы из христианского милосердия.

– Не позволю... – ответила дама.

– Но ведь все равно вещи не ваши. Не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить.

Опять на нас повернулось красное, пылающее лицо.

– Ого! Попробуйте. Попробуйте только! Да вы знаете, с кем имеете дело? Нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаёте. Я – начальница тяги! Я вас в двадцать четыре часа...

Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький, серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет.

Когда поезд стал замедлять ход перед второй станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злорадно шел за нами.

– Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат? – спросил третий, умерший.

– Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои.

– Позвольте узнать: а чьи? – спросил старичок голосом малиновки.

– Не твое дело.

В это время поезд остановился. Вбежали носильщики. Дама велела одному из них – она даже назвала его Семеном – взять вещи.

Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не

касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась, как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила: «Да! Вещи мои!» Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, эти вещи не мои! А вы – хулиганы!» Тогда мы говорили: «Сударыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи». – «Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи... а вы обращались с незащищенной женщиной, как свиньи!» Но тут уже выступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы два часа с лишком стояли на ногах (воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы первых двух классов!).

Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте.

Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать у сторожа, какая здесь лучшая гостиница, то есть где меньше клопов.

И вдруг слышим знакомый, но уже теперь славный, теплый голос: – Господа, куда вы собираетесь?

Оглядываемся. Смотрим – наша дама. И совсем новое лицо: милое русское лицо.

– Если вы не побрезгуете, поедemте ко мне на елку... Вы на меня не сердитесь... я все-таки женщина... А с этими железными дорогами просто голову растеряешь.

Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные друзья.

Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил:

– Правда, Анна Федоровна?

Густой смеющийся голос из темноты ответил:

– Бесстыдник. Язык у вас, у адвокатов, так уж подвешен, что не можете не перевернуть!..

Святая ложь

Иван Иванович Семенюта – человек вовсе не дурной. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда был козлицем отпущения за целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюта как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит:

– О! Земнут, скверный мальчишка! Au tuit! К стены!^[63]

И бедного, ни в чем не повинного Семенюта во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюта по темени старым, окаменелым пальцем.

– Ученичок развращенный! Ар-ха-ро-вец...^[64] Позорище заведения!.. У-бо-и-ще!.. Ос-то-лоп!.. – И потом заканчивал деловым холодным тоном: – После обеда в карцер на трое суток. До Рождества без отпуска (заведение было закрытое), а если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища.

Затем звонкий щелчок в лоб и грозное: «Пшол! Козлице!»

И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора, производили ли набег на соседние огороды – всегда в критический момент молодые разбойники успевали разбежаться и скрыться, а скромный, тихий Семенюта, не принимавший никакого участия в проделке, оказывался роковым образом непременно поблизости к месту преступления. И опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы:

– У-бо-и-ще!.. Ар-ха-ро-вец!.. Ос-то-лоп!..

Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, жившая в казенном вдовьем доме, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына:

– Не губите мальчика. Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый. Только он робкий очень и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посеките его.

Семенюту довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, дали ему аттестат об окончании шести классов.

Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто «полудемисезон», заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке, у торговцев «вручную». Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек.

Оставалось искать место. Но место «не выходило» – таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме: мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но мать поклонилась псаломщику, поклонилась и кастелянше, и те милостиво позволили Семенюте спать у них на общей кухне на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе.

Наконец-то через год с лишком нашлось место писца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать с четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный, Ювеналий Евпсихиевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка.

Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влез в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные писцы относились к нему холодно: немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. «Анахорет сирийский», – решили про него.

Семенюта был счастлив: скромная комнатка, вроде скворечника, на самом чердаке, обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, по-видимому, оценило его усердие. На другой год службы он получил должность журналиста^[65] и прибавку в пять рублей к жалованью, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать кое-что в сберегательную кассу.

Но тут-то среди аркадского благополучия^[66] судьба и явила ему свой свирепый образ.

Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся, по обыкновению, в семь, усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних.

Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из товарищей глядели на него искоса, с неприязнью, другие – с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли.

Тревога его росла с каждой минутой. В одиннадцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал

дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго, вполголоса: «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами, точно в кошмаре, поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослуживцев.

Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом, ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде.

– Подойдите, Семенюта, – сказал директор, после того как Семенюта низко поклонился. – Скажите, зачем вы это сделали?

– Что, ваше превосходительство?

– Вы сами лучше меня знаете, что. Зачем вы взломали ящик от эскуторского^[67] стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги? Не извольте отпираться. Нам все известно.

– Я... Ваше превосходительство... Я... Я... Я, ей-богу...

Начальник, очень либеральный, сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по столу кулаком:

– Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались одни. Оставались до часу. Кроме вас, во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда.

Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени.

– Ваше... Ей-богу, честное слово... Ваше... Пускай меня Матерь Божия, Николай Угодник, если я... Ваше превосходительство!

– Встаньте, – брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. – Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе. Я ведь знаю, что у вас после растраты или *кражи* (начальник жестоко подчеркнул это слово), что у вас первым делом – трактир или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что, если кто-

нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте.

И он надавил кнопку электрического звонка.

Вот уже три года как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, которая закупает у рыбаков корзинками мелкую рыбку уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом, углу целый день стучит, сидя на липке, молоточком сапожник Иван Николаевич, по будням мягкий, ласковый, веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец, в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница.

Чем существует Семенюта, он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклеывается переписка. Главное же его занятие – это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове, точно взьерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.

Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на Пасху, на Троицу и на тринадцатое августа^[68].

Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек – пять копеек на баню, пять на цирюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезливой жалостью в

сердце. Их фамилии: одного – Пшонкин, а другого – Масса. Боясь надоест, Семенюта чередует свои визиты.

Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.

– Что? Плохо, брат Семенюта? – спрашивает Масса.

– На Бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.

– А ты не делал бы, чего не полагается.

– Николай Степанович... видит Бог... не я... как перед истинным, – не я.

– Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.

– Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот, если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.

– Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?

– Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня... старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не Бог вещь какие, но все-таки пятьсот рублей... Это не Макара в спину целовать.

– Ну, ну, бери, бери, Бог с тобой.

И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовый дом с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.

– Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?

Гордый Никита молчит, точно окаменев.

– Как здоровье мамыши? – спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.

Швейцар заявляет:

– А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.

Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма. Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи – запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, неопределенный, цвельный запах чистой, опрятной старости, запах земли – все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью.

Вот наконец палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати – казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!

– Конкордия Сергеевна, к вам пришли.

– Никак Ванечка?

Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязанья.

– Ванечек! Милый. Ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И во сне тебя сегодня видела.

Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик, постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые, иссохшие, узловатые руки трясутся.

Проходит мимо степенная старая горничная, «покоевая девушка», лет пятидесяти, в синем форменном платье и белом переднике.

– Домнушка! – говорит немного искательно Конкордия Сергеевна. – Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку.

Видишь, Ванюшка ко мне в гости приехал.

Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте.

– Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали. И мамаша-то все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу, сию минутус.

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые не переставая наносит беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни.

– Вид у тебя неважный, Ванек, – говорит старушка и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе. – Побледнел ты, усталый какой-то.

– Что поделаешь, маман! Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру делать?

– Не утомляйся уж очень-то, Ванюша.

– Ничего, маман, я двужильный. Зато на Пасху получу коллежского^[69], и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здешнее прозябание. Сниму квартиру и перевезу вас к себе. И будет у нас не житье, а рай. Я на службу, вы – хозяйка.

Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин.

– Дай-то Бог, дай-то Бог, Ваничек. Только бы Бог тебе послал здоровья и терпенья. Вид-то у тебя...

– Ничего. Выдержим, маман!

Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским «прикомандированным» шалопахам, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», «мамусенькой», «мамочкой», и всегда на «ты». Но в названии «маман» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное, опавшее, покорбленное лицо

матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость.

Домна приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит.

Конкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышинными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семенюту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются:

– Господи! Ванечка! И не узнать совсем – какой большой стал. А я ведь вас вон этаким, этаким помню. Отчаянный был мальчик – герой. Так вас все и звали: генерал Скобелев. Меня все дразнил «Перпетуя Измегуевна», а покойницу Гололобову, Надежду Федоровну, – «серенькая бабушка с хвостиком». Как теперь помню.

Конкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее рукой:

– И спасибо... Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо. Идите, идите.

– Как у нас дела, маман? – спрашивает Семенюта, прихлебывая чай внакладку.

– Что ж. Мое дело старческое. Давно пора бы туда... Вот с дочками плохо. Ты-то, слава Богу, на дороге, на виду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дому отбился. Играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит. Бьет Катеньку. С железной дороги его, кажется, скоро прогонят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет подлец.

– Да уж, маман, правда ваша, – подлец.

– Тсс... тише... Не говори так вслух... – шепчет мать. – Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да. А у Зоиньки... уж, право, не знаю, хуже ли, лучше ли? Ее Стасенька и добрый, и ласковый... Ну, да они все, поляки, ласые, а вот насчет бабья – сущий кобель, прости господи. Все деньги на них, бесстыдник, сорит. Катается на лихачах, подарки там разные. А Зоя, дурища, до сих пор влюблена как кошка! Не понимаю, что за глупость! На днях нашла у него в письменном столе – ключ подобрала – нашла карточки, которые он снимал со своих Дульциней в самом таком виде... знаешь... без ничего. Ну, Зоя и отравилась опиумом... Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное да неприятное.

Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только тсс... потише – здесь и стены имеют уши.

Семенюта призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливей.

Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту, товарищи любят. Правда, Трактатов и Преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им! У них ни знаний, ни соображения. И какое же образование: один выгнан из семинарии, а другой – просто хулиган. А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально. Столоначальник с ним за руку. На днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь столоначальника, Любочка, подошла к нему с другой барышней. «Что хотите: розу или ландыш?» – «Ландыш!» Она вся так и покраснела. А потом спрашивает: «Почему вы узнали, что это я?» – «Мне подсказало сердце».

– Жениться бы тебе, Ванечка.

– Подождите. Рано еще, маман. Дайте обрасти перьями. А хороша. Абсолютно хороша.

– Ах, проказник!

– Тьфу, тьфу, не сплзить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя похаять. Начальник на днях, проходя, похлопал по плечу и сказал одобрительно: «Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду».

И он говорит, говорит без конца, разжигаясь собственной фантазией, положив легкомысленно ногу на ногу, крутя усы и шуря глаза, а мать смотрит ему в рот, замороженная волшебной сказкой. Но вот звонит вдали, все приближаясь, звонок. Входит Домна с колокольчиком: «Барыни, ужинать».

– Ты подожди меня, – шепчет мать. – Хочу еще на тебя поглядеть.

Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюжинки, или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба.

– Покушай, Ванечка, покушай, – ласково упрашивает мать. – Не побрезгуй нашим вдовьим кушаньем! Ты маленьким очень любил

севрюжинку.

– Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне. Обедали сегодня в «Праге», чувствовали экзекутора. Кстати, маман, я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйте...

Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются, точно узкие горные ручьи, тихие слезы.

Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю, но он помнит о своем обтрепанном пальто невозможного вида и отклоняет эту любезность.

– Ну, что, в самом деле, маман. Дальние проводы – лишние слезы. И простудитесь вы еще, чего доброго. Смотрите же, берегите себя!

В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку.

– Так-то, Никитушка, – говорит ласково Семенюта. – Жить еще можно... Не надо только отчаиваться... Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нету у меня мелочи.

– Да будет вам, – пренебрежительно роняет швейцар. – Я знаю, у вас все крупные. Идите уж, идите. Настудите мне швейцарскую.

Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю – да.

Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба?

И вот старый, честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку:

– Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет.

Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирешку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом:

– Ваше превосходительство, совесть меня замучила... Умираю я... Хочу с души грех снять... Деньги-то эти самые и марки... Это

ведь я украл... Попутал меня лукавый... Простите, Христа ради, что невинного человека оплел, а деньги и марки – вот они здесь... В комодке, в верхнем правом ящичке.

На другой же день пошлет начальник Пшонкина или Массу за Семенютой, выведет его рука об руку перед всей канцелярией и скажет все про Анкудина, и про украденные деньги и марки, и про страдание злосчастного Семенюты, и попросит у него публично прощения, и пожмет ему руку, и, растроганный до слез, облобызает его.

И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь – это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения.

А ведь и в самом деле бывают же в жизни чудеса! Или только в пасхальных рассказах?

Жизнь

Рождественская сказка

I

В глухой чаще старого мрачного леса, над серым, мшистым, кочковатым болотом, стояла сосна. Солнце почти никогда не заглядывало в это сырое место. Лишенная с детства живительного света и тепла, всегда окутанная ядовитыми болотными испарениями, она выросла уродливым деревом, с искривленным корявым стволом, с пожелтевшей, иссыхающей хвоей. Днем у ее кривых корней скользили бурые ящерицы, а ночью под ее жидкой сенью бесшумно пролетали хищные совы. Часто зимней ночью, когда деревья, занесенные сплошной пеленой снега, трещали от жестокой стужи, сосна слышала голодный вой волков и видела их яркие глаза. Когда ветер стонал и рыдал по вершинам старого мрачного леса, в унылом скрипе сосны слышалась накопленная годами жалоба: «Как скучно, как страшно жить!» В том же лесу, на опушке, вблизи оживленной дороги у прохладного журчащего ручья, красовалась стройная зеленая елочка. Привольно и весело росла она, то ласкаемая горячими поцелуями летнего солнца, то сверкая каждым алмазом своего снежного убора в лунные зимние ночи. С утра до вечера в ее ароматных, смолистых ветвях звонко перекликалось пернатое царство, а ночью чутко дремало, дожидаясь рассвета. Дорога, возле которой стояла елочка, никогда не пустела. То и дело по ней тянулись длинные обозы, двигались пешеходы, изредка пролетали нарядные экипажи. Ни от чьих глаз не ускользала красавица елочка. Каждый с удовольствием любовался ею и говорил: «Какое прелестное дерево», а елочка вместе с ними, трепеща от избытка жизни и ласки, шептала: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»

II

Светлый, жаркий полдень. По пыльной раскаленной дороге бредет усталыми старческими шагами богомolec. Его разбитое тело

просит отдыха, обожженные солнцем глаза ищут тени, запекшиеся губы жаждут воды. Завидев приветливую тень елочки, он ускоряет шаги. Еще минута – и берестяной ковшик богомольца уже зачерпывает студеную воду ручья. Старик долго и жадно пьет, не отрываясь от ковшика, и потом сладкая дрема на мягкой и сочной траве охватывает его обессиленное тело. Чувствует он, засыпая, смолистый аромат тенистых еловых ветвей, слышит над собой точно уходящий вдаль птичий щебет, и губы его умиленно шепчут: «Вся премудростию сотворил...»^[70] А елочка, ласково простирая над спящим свой прохладный шатер, точно заботливая мать, склонившаяся над любимым ребенком, баюкает старика тихим шелестом...

Благоуханная, теплая, весенняя ночь. Точно заколдованный, замер лес, весь облитый, весь посеребренный сияющим небом. Страстная, торжествующая гремит и рассыпается над лесом соловьиная песнь. И звуки, и аромат, сиянье и тени – все слилось в одну общую гармонию весенней любви. Под стройной елочкой прижались друг к другу двое влюбленных. Охваченные красотой этой чудной ночи, они боятся нарушить словом или даже поцелуем ее очарование. Их мысли, их чувства, каждое биение их переполненных сердец сливается в одном аккорде с весенней гармонией. Молодая стройная елочка слышит и понимает эту вечно юную, вечно прекрасную гармонию и, задыхаясь от счастья, шепчет: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»

Нет, уродливая, искривленная сосна ничего подобного не видела в своем сыром углу. Редко, очень редко заглядывал туда человек, а если и заглядывал, то с нехорошими мыслями и недобрым лицом. Приходили иногда в черные, ненастные ночи, во время проливного дождя, мужики-лесокрады, и сосне казалось, что они своими трусливыми воровскими движениями и хватками – родные братья хищным волкам. Иногда пробирался сквозь чащу бродяга. Преступление и боязнь погони заставляли его искать убежища в этом мрачном месте.

III

Однажды в холодное осеннее утро через серую пелену тяжелого тумана донеслись до сосны незнакомые ей до сих пор оживленные,

веселые звуки: топот и ржанье коней, звонкий, задыхающийся лай собак, возбужденные крики, резкие ноты рожков. Звуки приближались, и сосна вся обратилась в тревожное ожидание. Вдруг из лесной чащи выскочил олень – прекрасное животное на длинных, стройных ногах, дрожащее от испуга и бешеной скачки; следом за ним, в сотне шагов, виднелись собаки, разъяренные от бега, с красными высунутыми языками. Благородное животное на секунду остановилось у корней сосны. В то же мгновение навстречу ему, прорезав плотную завесу тумана, сверкнул красный огонь. Лес встрепенулся от раската выстрела, и олень, сделав несколько судорожных скачков, повалился на бок. Он дрожал всем телом. В его черных, больших глазах, полных слез, выразилось столько страданий, мольбы и упрека, что рука охотника, занесенная над его жертвой, дрогнула перед ударом.

Поздно вечером по запаху кровавых следов сбежалась к сосне стая отощавших волков. Они не нашли ничего и завыли, подняв свои головы кверху. Когда же ветер застонал и зарыдал по верхушкам старого мрачного бора, в унылом скрипе сосны послышалась накопленная годами жалоба: «Как скучно, как страшно жить!»

IV

Так шли годы. По-прежнему сосна и елочка повторяли свою песню, по-прежнему сосна, склоняясь все ниже и ниже к ядовитому болоту, видела только мрачную жизнь непросветной лесной чащи, по-прежнему елочка радовалась солнцу, теплу, воздуху и простору.

В один сверкающий зимний день на опушку леса пришло два человека в полушубках с топорами в руках.

– Вот славное деревце! – сказал один из них.

Другой, не говоря ни слова, сбросил с себя полушубок. Блеснул топор... Елочка вся затряслась от сильного удара, и с ветвей ее плавно посыпались хлопья снега. Елочка лишилась сознания.

Вечером она очнулась в роскошном двухсветном зале. Гигантские люстры и бесчисленные канделябры бросали от себя потоки света. Елочка стояла посередине всего этого блеска, украшенная сотнями свечей, золотыми и серебряными лентами, сверкающими погремушками, дорогими подарками, китайскими

фонариками и целой коллекцией плюшевых птиц, жуков из фольги, стрекоз, пестрых бабочек и рыбок. Вокруг елки сновала, под веселые звуки музыки, тысячная толпа разряженных детей, с разгоревшимися от восторга глазами, со звонким хохотом и громкими восклицаниями...

Детский праздник с каждой минутой становился шумнее и веселее. Дети составили хоровод и с шумным восторгом танцевали вокруг елочки, и она шептала, сияя огнями: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!..»

Елка в капельке

Хорошо вспоминается из детства рождественская елка: ее темная зелень сквозь ослепительно-пестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно – запахи. Как остро, весело и смолисто пахла вдруг загоревшаяся хвоя! А когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. Наутро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей: подолгу подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом: «Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоминании приятной копотью.

Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь: глядишь серьезно и молча, исподлобья, на игрушку ближайшего соседа.

У господского Димы – целый поезд, с вагонами всех трех классов, с заводным паровозом. У прачкиного Васьки – деревянный конь: голова серая, в темных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри – раскаленные угли, а вместо туловища – толстая палка. Оба мальчугана завидуют друг другу.

– Посмотри, Дима, – изнывает от чужого счастья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка, – вот дырочка, а вот ключик. Заводить надо так: раз-раз-раз-раз... У-у! Поехали, поехали!..

Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком по штанишкам, и вот пляшет на месте, горячится, ржет ретивый конь, и вдруг галопом вкось, вкось!.. У Димы катастрофа: крушение поезда, вагоны падают набок, паровоз торчит вверх колесами, а колеса еще продолжают вертеться с легким шипением.

– Ах, Дима! Зачем же толкать паровозы ногами? Как тебе не стыдно?..

– Не хочу паровоза, хочу Васькину вошадь! Отдайте ему паровоз, а мне вошадь! Хочу вошадь!

Но гордый Васька гарцует, молодецки избоченившись на коне, и небрежно кидает:

– Ишь ты какой! Захотел тоже!..

Что говорить, волшебна, упоительна елка. Именно упоительна, потому что от множества огней, от сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без вина, и щеки у них кумачово-красны.

Но много, ах как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а суются: какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот еще дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом. Сел на пол, под елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает взаправдушные.

Михаил Салтыков-Щедрин

Христова нощ (Предание)

Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежной пеленой уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зазорами^[71]. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железной шапкой. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним – третье, четвертое. На темном фоне ночи прорезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетой, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему Богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатеи, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собой и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения – как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый Бог! Воскрес Бог, к которому искони огорченные и недужающие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес Бог и наполнил Собой вселенную. Широкая степь встала навстречу Ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение Воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»

Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:

– Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспевания. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество. Нет нужды, что человек мало-помалу проникает в ее недра – он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи Моего воскресения!

Благословивши природу, Воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к Нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда Он сказал им: «Мир вам!» – то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.

И сердце Воскресшего вновь затуманилось той великой и смертельной скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, Ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед Ним, несло бремя жизни имени Его ради; все они первые приклонили ухо к Его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих. Всех их Он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех

Он благословил, совершая Свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут Его и рвутся к Нему. Все с беззаветною верою простирают к Нему руки: «Господи! Ты ли?»

– Да, это Я, – сказал Он им. – Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадальцы мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, – тут же пролита и Моя кровь вместе с вашей. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в Меня, потому только, что проповедь Моя заключает в себе правду, без которой Вселенная представляет собой вместилище погубления и ад крошечный. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя, – вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохой, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь Мой в виде слез и вздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце Мое. Знайте же: хотя никто не провидит вперед, когда пробьет ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавые, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово Мое да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошел далее и встретил на пути Своем иных людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и несправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение Воскресшего.

Он также остановился перед ними и сказал:

– Вы – люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие – вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы Вселенною, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время – и недалеко оно, – когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые также познают свою силу; вы же сознаете свое ничтожество перед этою силой. Предвидели ли вы когда-нибудь этот грозный час? Смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?

Грешники безмолвствовали. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда Воскресший продолжал:

– Но во имя Моего воскресения Я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь – суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети – отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, – тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общую трапезой в обители Моей. Идите же и знайте, что слово Мое – истина!

В эту самую минуту восток заалел, и в редящем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; вороны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор Воскресшего воспылал гневом.

– О, предатель! – сказал Он, – ты думал, что вольной смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдной жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобою, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему погибель души своей. «Единый миг, – сказал ты себе, – и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с древа, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!

По этому слову, перед глазами у всех, предатель сошел с древа и пал на землю перед Воскресшим, моля Его о возвращении смерти.

– Я вам указал путь к спасению, – продолжал Воскресший, – но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят Богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это Я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери – и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе – и тебе подадут камень; ты будешь жаждать – и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпьями. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! Будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! Будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах – и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! Будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обретешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! Будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души благодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! – возопиют они. – Будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в

сердце, с погубленной душою. Живи, проклятый! И будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми вместо посоха древесный сук, на котором ты чаял найти смерть, – и иди!

И едва замерло в воздухе слово Воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассевая смуту, измену и рознь.

Александр Бестужев-Марлинский

Страшное гаданье

Посвящается Петру Степановичу Лутковскому

*Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным сердцем,
Друзья мои, кто не был духоверцем?..*

Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидев, понять ее, – они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которой и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами: мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете. Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непонятен, но смешон никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиной. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, еще более разогрело слепую мою страсть, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было разорвать, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимой женщиной; я говорил пламенно, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении,

что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию; так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством. Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще я не был любим дотол, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

– Милый! мы далеки от порока, – говорила она, – но всегда ли далеки от слабости? Кто пытается часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видеться!

Скрепя сердце я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых Святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт.

Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал, – я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постели своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность – досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи

разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла засть тогда ни одна блеска наружной веселости, никакое случайное развлечение. И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц – звезда на звезде, молодцов рой, и шампанского разлитое море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее прости! Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел – катай!

Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркой китайкой, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предупреждением:

– Ну, барин, держись!

Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкой, гаркнул, и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскока: они понесли нас. Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валец ногой и мощно передергивая

вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватившись за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения – мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения.

Мечта уже переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса – пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились наконец измученные бегуны, и тогда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями.

– Где мы? – спросил я ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

– Дай бог памяти, барин! – отвечал он. – Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедьшей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андропова Пережога?

Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадой бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.

– Ну, что?

– Плохо, барин! – отвечал он. – В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озерку!

– Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!

– Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда, – возразил ямщик. – Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что

страсть; а собой такая смазливая – заляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь.

– Что ж, поцеловал ли он красавицу? – спросил я.

– Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушивает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить или зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сплазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допыталися: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак нонес повстречал тут оборотня; слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косою как порасскажет...

– Побереги свои побасенки до другого случая, – возразил я, – мне, право, нет времени, да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленой, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск между перелесками заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходишь – это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на всё и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюбленным и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливецом, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьёю шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь, леденя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и заморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не окончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыт от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольчика, потрясаемого уздой, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опущенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой... Тишь и пустыня окрест!

Мой молодой извозчик одет был вовсе не по-дорожному и, не на шутку снедаемый холодом, заплакал.

– Знать, согрешил я перед Богом, – сказал он, – что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвояет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень вскрикнул с радостью:

– Вот он, вот он!

– Кто он? – спросил я, прыгая ближе по глубокому снегу.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был конский след. Я уверен, что ни один бедняк не

был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дровозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы озябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем по улице окоченевших членов, не оттер снегом руки и щеки, даже покуда не выводил коней. У меня ужасно замерзли одни только ноги, и потому, вытерев их в сенях докрасна суконкой, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о неожиданном госте. Ряды молодежи в низанных киках, в кокошниках и красных девиц в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому – разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между.

Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмеиваясь, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, брэнчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вяза». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обернувшись лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выпячивали две или три живописные детские головки, которые, склонившись на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и

перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.

Слава Богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!
Уж мы хлеба поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье,
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена;
А наместо глаз – дорогой алмаз!
Золотая парча развевается —
Кто-то в путь в дорогу собирается.

Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы летом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от

забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.

– Да, изволишь знать, твоя милость, – примолвил один краснобай, встряхнув кудрями, – теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом – не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб поглядил домовый мохнатой лапой на богатство, да и то сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.

– Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! – вскричало несколько тоненьких голосков.

– Чего полно? – продолжал Ванька. – Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словно живьем воочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским старостиным сыном Афонькой да одно знай пристаает: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.

– Нет, барин, – примолвил другой, – хоть россыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.

– И ведомо, – сказал третий. – Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.

– Полно брехать, – возразил краснобай. – Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых Святках?

– А что такое? – вскричали многие любопытные. – Расскажи, пожалуста, Ванюша; только не умори с ужаси.

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крякнул протяжно, оправил правой рукой кудри и начал:

– Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть – за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у Сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.

Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погодю; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Семка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою, да и приду мертвецом на поселки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал, ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Однако ж, когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозвется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок – свои следы считать. Ты, дескать, брал напрокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать в чужом пиру похмелье нести.

И вот, не прошло двух миггов... слышали, кто-то идет по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...

– С нами крестная сила! – вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. – Наше место свято! – повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее предмета. – Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!

Девки с криком прижались одна к другой: парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробее, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта – на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

– Это вам почудилось, – сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен. – Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» – пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окруженный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! – закричал колдун, скрипя зубами. – Пускай где взял, там и отдаст мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки, – сказал мертвец страшным голосом, – я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так что его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в ворота, и дубовый запор, как соль, рассыпался... Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сенях под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на петлях, и мертвец шаст в избу!

Дверь избы нашей, точно, отворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпившись под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол, такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его

доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

– Бог помочь! – сказал он, кланяясь. – Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минутку: надо покормить иноходца на перепутье, у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь, кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим именем жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какой-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере, наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.

– Не правда ли, сударь, – сказал он мне после некоторого молчания, – вы любуетесь невинностью и веселостью этих простаков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уже нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодыцам и пары три аршин тесемок девушкам – вот мужицкий рай; надолго ли?

Он вышел и, вернувшись, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и

совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодцов прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая рассказы незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседей. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделицы. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемигивания с другими; даже ребятишки на полатах дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкой смотрел на следы своих проказ.

– Вот люди! – сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое.

Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостью; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То, по крайней мере, высказывал насмешливый взор и тон речей; так, по крайней мере, мне казалось.

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычной стезей. Опершись рукою о стол, хмурен и рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из

сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне:

– Уж скоро десять часов.

Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения.

В это время один из молодцов, с рыжими усами и открытого лица, вероятно, осмелевший после дарового ерофеича, подошел ко мне с поклоном.

– Что я тебя спрошаю, барин, – сказал он, – есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня очень.

– Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный вопрос, – отвечал я, – он бы унес ответ на боках своих.

– И, батюшка сударь, – возразил он, – будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засучив рукавов; такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.

– Чертей я боюсь еще менее, чем людей! – был мой ответ.

– Честь и хвала тебе, барин! – сказал молодец. – Насилу нашел я товарища. И ты бы не испугался увидеть нечистого носом к носу?

– Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомошника...

– Ну, барин, – промолвил он, понизив голос и склоняясь над моим ухом, – если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть: на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополему гадателю, что он или дурак, или хвастун и что я, для его забавы или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он

присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.

– Вы, верно, не пойдете, – сказал он сомнительно. – Чему быть путному, даже забавному от таких людей!

– Напротив, пойду!.. – возразил я сухо. Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу. – Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покороче с лукавым, – сказал я гадателю. – Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?

– Теперь он рыщет по земле, – отвечал тот, – ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему велению.

– Смотрите, чтобы он не заставил вас делать по своему хотению, – произнес незнакомец важно.

– Мы будем гадать страшным гаданьем, – сказал мне на ухо парень, – зажав нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал, – примолвил он, бледнея, – того... Да ты сам, барин, попытаешь все.

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он был обуян. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.

– Идем же сейчас, – сказал я, опоясывая свою саблю и надевая просушенные сапоги. – Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них довезет меня до цели!

Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:

– Напрасно, сударь, изволите идти: воображение – самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду просто для забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову, и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

– Пускай же сбудется чему должно! – произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

– Вечер у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки, – сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру, – и она-то

будет нашим ковром-самолетом.

Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выплядывала головка полуштофа, по его словам, какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, выплядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы повертели на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

– Здесь! – сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность. – Здесь! – повторил он. – Это место дорого для того, кого станем вызывать мы; здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

– Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнеся невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагой из склянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил ему голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:

– Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкупу?

– Нет! – сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи, – черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которую если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах, – подумал я, – тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».

– Да все равно, – продолжал он, – можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дырявый бурак, наговорить да и бросить в муравейник, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок: этот крючок – неизменная уда на сердца; а коли больно наскучит, тронь вилочкой – как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.

«Что касается до забвения, – думал я, – для этого не нужно с нашими дамами чародейства».

– Пора! – произнес гадатель. – Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется.

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковерен, следовательно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолюдинов... Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.

«Тихая сторона мечтаний! – думал я. – Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье,

как дружеский привет иль ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттоле влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчизной нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля – еще прекраснейшие миры и еще тягчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»

Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною...

«О! зачем мы живем не в век волшебства, – подумал я, – чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие, ты была бы моя, Полина... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежную глыбою...

– Идет, идет! – воскликнул он, упав ниц.

Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню... Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастаая, налетел ближе... Невольным образом у меня занялся дух от опасливого ожидания, и холод пробежал по членам... Земля звучала и дрожала – я не вытерпел и оглянулся...

И что ж? Полуштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

– Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабить себя сначала; мудрено ли, что таким гадателям с перепоя видятся чудеса!

И между тем злые очи его пронизали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка впотьмах и врасплох.

– Каким образом ты очутился здесь, друг мой? – спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

– Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой... – отвечал он лукаво. – Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барской барыней. Мой иноходец, могу похвалиться, бегаёт как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною дурно; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

– Ты уважил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! – вскричал я, садясь в саночки.

– Поберегите их у себя, – отвечал незнакомец, садясь со мною рядом. – Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, направленная стальным луком, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрезы, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как вились и крутились они по закраинам полыней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочился за предводительшей, та была у нашего майора в гостях под маской; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился сколькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Прокурор получил недавно пирог с золотою начинкой за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч., и проч.

– Удивляюсь, как много здесь сплетней, – сказал я, – дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.

– Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветрены и мужья не

носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

– Мне все равно, – отвечал я хладнокровно.

– В самом деле? – произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально. – А я бы прозакладывал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою голову, что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

– Бес ты или человек?! – яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот. – Я заставлю тебя высказать, от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас, вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

– Вы проиграете со мной в эту игру, – сказал он хладнокровно, однако ж решительно. – Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? скрипучую дверь не заставишь молчать

молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжеского дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу – все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливня. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другой, в поисках Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшей головой, будто цветочный венок давил ее как свинцовый. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опухшими глазами, будто ослепленная внезапным блеском.

Укротив, как только мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучившись, может быть навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором, или нет: не для любви для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поспорить с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностью, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рассудка и не вникая в внушения сердца!.. Она прервала меня.

– Я бы должна была упрекать тебя, – сказала она, – но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоридами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я

имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмещались в круг танцующих.

Не умею описать, что со мной стало, когда, обвивая тонкий стан ее рукою, трепетную от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проникали сквозь дымку, я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полусферы, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел – нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя.

Сидя подле Полины в кругу котильона, я мечтал, что нас осталось только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то не доставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз люблю на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только под конец танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все мои взгляды, все наши разговоры. Это был злой человек низкой души; я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих, – я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний

театр княжего дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и сгроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелась, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела – я изнемогал и таял. Каждый скрип, каждый шелк кидал меня в пот и холод... И наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

– Забудь, – сказала она, – что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

– Тебя забыть! – воскликнул я. – И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я волочить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, спланил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнью!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробегал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

– Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

– Еще раз прости, – наконец произнесла она твердо. – Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости... уж время!

– Уж поздно! – произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

– Бегите! – сказал он, запыхавшись. – Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью! – примолвил он, заметив Полину. – Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... Он близко.

– Он убьет меня! – вскричала Полина, упав ко мне на руки.

– Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

– Что мне делать? – произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу; укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем. Я решился.

– Полина, – отвечал я. – Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела, ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

– Вечность дороже! – возразила она, склонив голову на сжатые руки.

– Идут, идут! – вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. – Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мной!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

– Я твоя! – шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в свою шубу, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вокруг плетней, вправо, влево, под гору, и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огненным потоком. Небо ясно, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тихо, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я

убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

– Я все бы снесла, – возразила она, – и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед Богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу затаить я от самой себя, хотя бы вдали, в чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Всё, всё можешь ты обновить для меня, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, – думал я, – так вот те очаровательные слова «я твоя», звук которых казался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиной, и я так глубоко несчастлив, несчастнее, чем когда-нибудь!» Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно плядели его тусклые очи.

Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый, столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкой. Вдруг потянул ветерок, и на нем слышали мы за собой топот погони.

– Скорей, ради Бога, скорей! – вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

– Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

– Погоняй! – возразил я. – Не тебе давать мне уроки.

– Доброе слово надо принять от самого черта, – отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. – Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть

прекрасной барыней; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную корзину овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что ж, скажите, он надорвет себя?

– Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! – вскричал я, хватаясь за саблю. – Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

– Не горячитесь, сударь, – хладнокровно возразил мне незнакомец. – Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяжкий грех в добавок? – примолвил он, обнажая зубы злой усмешкой.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцой. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекли ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего за нами во весь опор; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не хватал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и упала, придавив собою всадника. Долго бился он под ней и наконец выскочил из-под неподвижного трупа и с бешенством кинулся к нам: это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет более владеть Полиной; что шум только опласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

– Вот мое удовлетворение, низкий оболъститель! – вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благородного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всем опытом моим, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразить ж, что случилось тогда со мной, заносчивым, вспыльчивым юношей! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютый зверь, кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран – вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился на лед.

Еще не насытившийся мстью, в порыве иступления спустился я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонившись над телом убитого, жадно прислушивался к журчанию крови, которое казалось мне признаком жизни. Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастию, я знал ее во многих и сам изведal ее на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неизмеримо долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, и я, с какою-то тигровой жадностью, готов был излить ее из врага по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

– Мертв! – произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменной усмешкой на лице. – Мертв! – повторил он. – Пускай же мертвые не мешают живым.

И толкнул ногой окровавленный труп в полынью. Тонкая ледяная корка, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на окраину, и убитый тихо пошел ко дну.

– Вот что называется: и концы в воду, – сказал со смехом проводник мой. Я невольно вздрогнул; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

– Что ты делаешь? – спросил я его, выходя из оцепенения.

– Хороню свой клад, – отвечал он значительно. – Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает...

– И кровь убитого улетит на небо с парами! – возразил я мрачно. – Едем!

– До Бога высоко, до царя далеко, – произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие. – Однако ж ехать точно пора. Вам следует до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет велик!

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна, как мрамор, была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

– Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое замерло... но медлить было бы губительно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один бы я смог вынести бремя зол, на меня павшее. Проникнутый светской нравственностью, или, лучше сказать, безнравственностью, еще разгоряченный мстью, еще плененный бурными страстями, я был тогда недоступен истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увести чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что

приятно сердцу и свято душе, знакомством, родством, отечеством, доброй славой, даже покоем совести и самым разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах, – и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака? Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заплутить совесть? Нет, нет! Мое счастье исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адским.

Воздух свистел мимо ушей.

– Куда ты везешь меня? – спросил я проводника.

– Откуда взял, на кладбище! – возразил он злобно.

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и наконец стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.

– Что это значит? – гневно вскричал я. – Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.

– Я уж получил свою плату, – отвечал он злобно, – и дом твой здесь, здесь твоя брачная постель!

С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежерытою могилою, на краю которой стояли сани.

– За такую красотку не жаль души, – примолвил он и толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.

Я ударился головою в край могилы и лишился памяти; будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И наконец я упал на дно... Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, душа нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним

движением я сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее... И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком сне... Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!

«Так это сон?» – говорите вы почти с неудовольствием. Друзья, друзья! Неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше Бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все бывшее наше, как не смутный сон? И если вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня – вот следствия безумной любви моей!!

Я дал слово не видеть более Полину и сдержал его.

notes

Примечания

1

Кнастер – крепкий курительный табак.

Петервардейн – город, а ныне район города Нови-Сад на севере Сербии.

3

Цванцигер – австрийская серебряная монета в 20 крейцеров.

4

Оршад (фр. *Orgeat*) – старинный молочный сироп, смесь миндального молока с сахаром и померанцевой водой.

Гомруль – движение последней трети XIX – начала XX века за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны.

6

Овернец – житель или уроженец французской провинции Овернь.

7

Божба – клятва именем Бога.

Подкоморий – судья, занимавшийся вопросами межевания владений.

Решетилловская смушка – сорт овчины из села Решетилловки
Полтавской области.

Тавлинка – плоская табакерка из бересты.

Плахта – несшитая поясная часть женского украинского национального костюма типа юбки; изготавливалась из полотнищ красочной клетчатой шерстяной ткани. Запаска – род несшитой юбки или фартука из темной шерстяной материи. Запаски одевали в будние дни, а в праздники – плахты.

Кухмистр – лицо, заведовавшее королевским столом и управлявшее остальным кухонным персоналом.

Кобеньяк – мужская верхняя плечевая одежда, достаточно широкая, чтобы можно было ее зимой надевать поверх кожуха. Главной отличительной особенностью кобеняка был капюшон.

Крылос – место в церкви для певцов.

Кунтуш – верхняя мужская или женская одежда с отрезной приталенной спинкой и небольшими сборками и отворотами на рукавах.

Петров день, Петровка – народно-христианский праздник, отмечаемый 29 июня (12 июля). В народном календаре славян это время окончания «купальских празднований».

Ярь – зеленая краска, получаемая путем окисления меди; бакан – багряная краска, добываемая из червца, кармин.

Блейвас – белила.

Имеется в виду Д. И. Фонвизин.

Титар – церковный староста, заведующий хозяйством церкви.

Голтва – река в Полтавской области, приток реки Псел.

Надпись составлена из латинских и немецких слов: лат. *betula* – береза, нем. *kinder* – детская, лат. *balsamica* – исцеляющая, лат. *secuta* – секущая.

Обряд, совершаемый при архиерейском служении на Божественной литургии в Страстной четверг в память об омовении ног Иисусом Христом ученикам на Тайной Вечере. См.: Евангелие от Иоанна, 13:4—12.

Аболиционисты – сторонники общественного движения за отмену рабовладения в США. Аболиционистами называли иногда и борцов за отмену крепостного права в России.

Журавский Д. П. (1810–1856) – писатель, был ученым секретарем и редактором статистического отделения комиссии при университете святого Владимира в Киеве, занимался выкупом на волю крепостных людей и завещал передать на это дело все свое состояние.

Пусть так и будет (*укр.*).

Дружина – жена (*укр.*).

Имеется в виду Иван Мартынович Вигура (1819–1856), профессор государственного права в Киевском университете.

Книга пророка Исаии, 1:15.

Речь идет о графе Дмитрие Ерофеевиче Остен-Сакене (1790–1881) – генерале, участнике всех войн России с Наполеоном I, Русско-персидской войны (1826–1827), Русско-турецкой войны (1828–1829), участнике подавления Польского (1831) и Венгерского (1849) восстаний; в Крымскую войну (с ноября 1854) начальнике севастопольского гарнизона.

Филарет Дроздов (1783–1867) – митрополит Московский, известный проповедник и писатель-богослов. Николай Александрович Протасов (1799–1855) – граф, генерал, член Государственного совета, обер-прокурор Святейшего Синода (1833–1855). Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) – религиозный писатель, некоторое время замещал обер-прокурора Священного Синода, в течение ряда лет добивался назначения на эту должность, а митрополит Филарет оказывал ему в этом противодействие. Иннокентий Борисов (1800–1857) – богослов и церковный проповедник, ректор Киевской Духовной академии, архиепископ в Вологде, затем в Харькове и Херсоне.

Аудитор – должностное лицо в дореволюционных военных судах, исполнявшее прокурорские обязанности.

Благородное происхождение обязывает (*фр.*).

Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 33:23.

Не надейтесь ни на князей, ни на сынов человеческих, в коих нет спасения. См. псалом 145.

Книга притчей Соломоновых, 3:12.

Комиссариатская комиссия – учреждение, занимавшееся интендантским снабжением армии.

Цейхвартер – интендант.

Из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»: «Где первообразы кипят, трепещут творческие силы».

К черту! (*нем.*)

Евангелие от Марка, 2:27.

Моя дорогая! (*фр.*)

Жох – хитрый, ловкий в делах и прижимистый человек, пройдоха, плут.

Со стрелами любви (*фр.*).

Пресная вода (*фр.*).

Мармотка – тюлевая отделка под полями женской шляпы.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – хирург, анатом и естествоиспытатель, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.

Сударыни (*фр.*).

Пошло (от фр. *mesquin*).

Γρυβο (от фр. *brutal*).

Игнорировала (от фр. *ignorer*).

Архиерей – общее название высших чинов православного духовенства.

Английский клуб – один из центров общественной и политической жизни Москвы; во многом определял общественное мнение.

Грансеньор (от фр. *grand seigneur*) – большой барин (*ирон.*).

Ямщик Ечкин – во второй половине XIX в. хозяин гостиницы и почтовой станции в Нижнем Кисельном переулке в Москве.

Рассказ наш относится к 1885 г. Кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. (*Примеч. А. И. Куприна.*)

Реальное училище – среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором главная роль отводится предметам естественной и математической направленности.

Лансье (от фр. *lancier*) – английский бальный танец, сходный с кадрилию.

Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (*фр.*).

«Венгерская рапсодия» (*фр.*).

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) – российский пианист, композитор, дирижер, основатель Русского музыкального общества (1859) и первой русской консерватории в Санкт-Петербурге (1862).

Дебаркадер – *здесь*: крытая платформа железнодорожной станции.

К стене! (*фр.*)

Архаровец – буян, головорез. Слово произошло от фамилии обер-полицмейстера Москвы Николая Петровича Архарова (1740–1814) и поначалу означало «служитель полиции».

Журналист – *здесь*: чиновник канцелярии, ведущий журналы (протоколы) заседаний.

Аркадская идиллия – безмятежная жизнь, ничем не омраченное существование. От названия центральной гористой части Пелопоннеса – Аркадия. Население Аркадии в древности занималось скотоводством и земледелием, и в классической литературе XVII–XVIII вв. она изображалась как счастливая страна, где люди живут беззаботной жизнью.

Экзекутор – чиновник, ведавший хозяйственными делами учреждения и наблюдавший за порядком в канцелярии.

13 августа по старому стилю – день памяти мученицы Конкордии, т. е. у матери главного героя рассказа – день Ангела.

Коллежский регистратор – низший гражданский чин 14-го класса в Табели о рангах в России XVIII–XIX веков.

См.: Пс. 103:24.

Зажор – ледяная пробка, скопление внутриводного, рыхлого льда во время зимнего ледостава в сужениях и на излучинах русла.